

Ромен

Гари

CORPUS

Дальше ваш билет недействителен

Дальше ваш билет недействителен

Ромен Гари

Аннотация
Ромен Гари. Дальше ваш билет недействителен
Глава I
Глава II
Глава III
Глава IV
Глава V
Глава VI
Глава VII
Глава VIII
Глава IX
Глава X
Глава XI
Глава XII
Глава XIII
Глава XIV
Глава XV
Глава XVI
Глава XVII
Глава XVIII
Глава XIX

Глава XX
Глава XXI

Аннотация

Ромен Гари – один из самых знаменитых французских классиков. Всю жизнь меняя псевдонимы (настоящее его имя – Роман Кацев), он вошел в литературу не только как Гари, но и как Эмиль Ажар, в шестьдесят лет удостоившись под этим именем Гонкуровской премии во второй раз. Принять второго "Гонкура" он отказался – по уставу эта премия не может быть присуждена дважды одному и тому же писателю.

Роман "Дальше ваш билет недействителен" вышел в 1975 году, в самый разгар "ажаровской" мистификации. На фоне общего кризиса Европы разворачивается драматическая история поздней любви. Немолодой бизнесмен Жак Ренье, в прошлом лихой смельчак и кумир женщин, влюбляется в восемнадцатилетнюю девушку, и она отвечает ему взаимностью. Однако возраст берет свое, и Жак пытается примирить непримиримое, чтобы дать шанс любви, не имеющей будущего.

Ромен Гари
Дальше ваш билет недействителен

Romain Gary
Au-delà de cette lirnite votre ticket n’est plus valable

Перевод с французского
Натальи Мавлевич

© Éditions Gallimard, Paris, 1975
© Н. Мавлевич, перевод на русский язык, 2011, 2024
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2024
© ООО “Издательство Аст”, 2024
Издательство CORPUS ®

Глава I

Я проснулся в семь утра в своем номере в “Гритти” от телефонного звонка. Звонил Дули — он хотел меня видеть. Срочно. Меня покоробил повелительный, не терпящий возражений тон. Мы оба входили в Международный комитет по спасению Венеции. Спору нет, город дожей неуклонно опускается на дно, но все же не так быстро, чтобы нельзя было немножко потерпеть. Заседание Фонда Чини было вчера, но Дули на него не поспел, потому что, сказал он, из-за последних терактов в Италии объявили всеобщую суточную забастовку и его самолет не смог взлететь.

— Ни одного диспетчера на вышке, даже вертолеты не летают. Пришлось оставить “боинг” в Милане и сесть в машину.

Я прикинул время и назначил ему свидание в баре в половине десятого, гадая, чему обязан столь высокой честью. Я почти не знал Дули и не рвался с ним общаться — мы жили в разных измерениях. Джим Дули получил в наследство одно из самых крупных в Америке состояний.

Первый раз я увидел его в Санкт-Морице на со-

ревнованиях по бобслею, в которых участвовали и мы с сыном. Ковбойская стать, светлые, чуть тронутые сединой кудри, на удивление свежее — для плотного мужчины за пятьдесят, — ничуть не расплывшееся лицо, неизменная бодрость духа и веселый нрав — все это вызывало во мне легкое раздражение, ведь не только хорошенькие женщины завидуют друг другу. Один вид этого заядлого жизнелюба говорил: вот абсолютный чемпион мира по всем земным удовольствиям; и почему-то его колоссальные успехи, сам их размах, словно бы умаляли мои собственные и даже делали бессмысленным мое существование. Никому из людей не дано дорасти до той величины, которой они мечтали достигнуть. Дули же, судя по всему, игнорировал этот закон жанра. Вот уж колосс так колосс! Правда, что касается роста, лично я не разделяю восторженного отношения к верзилам, которое со времен Гомера проявляло хилое человеческое племя. Но Дули представлялся мне серьезным соперником на другом поприще — в борьбе за титул самого большого счастливчика. Когда этот детина в красном свитере встал, закончив дистанцию, снял шлем, обвел взглядом зрителей и разразился победным смехом, как будто он прирожденный

повелитель мира, меня охватило противное чувство собственной приниженности — не потому, что он меня обогнал, а потому, что рядом с этим американцем я словно *умалялся* в собственных глазах, а он чрезмерно, так, что мне не дотянуться, *разрастался.* И я ничего не мог поделать с этой безотчетной брезгливой неприязнью, имевшей едва ли не политический оттенок. В тот же вечер в гостиничном баре я встретил знакомую журналистку, и ей зачем-то понадобилось рассказать мне, как она "брала интервью" у Дули на его яхте в Сен-Тропе и он "всю ночь, как заведенный! Я уж не знала, как его остановить". Обычно такие откровения равносильны подстрекательству помериться силами с героями и показать, что ты и сам не промах. Но я тогда еще был сравнительно молод и не нуждался в том, чтобы мою уверенность в себе поддерживали женщины, она отлично держалась сама собой. Мне всегда нравились запретные сады и замкнутые миры. Чтобы все сохранялось в глубокой тайне, в которую посвящены лишь двое. Если же начинаешь заботиться о "репутации" в этой деликатной области, считай, чуду конец. Настоящая обитель любви всегда спрятана от посторонних. Хотя верность для меня — не контракт на эксклюзив-

ное право, это понятие, стоящее в одном ряду с преданностью и душевной близостью. Однажды в мае 1944 года, незадолго до высадки союзников, мой "лайсендер" ткнулся носом в землю во время взлета с партизанского аэродрома, и я здорово расшибся. Меня перенесли на ближайшую ферму, и вот не прошло и часа, как Люсьена, моя тогдашняя подруга и соратница, уже сидела у моей кровати. Ее буквально трясло, а я не понимал почему: не так уж страшно я разбился. Тогда она рассказала, что телефонный звонок с известием об аварии застал ее в гостиничном номере, когда она собиралась лечь в постель с моим другом. Услышав же, что случилось, она, не тратя время на объяснения, бросила его и помчалась ко мне. Вот это я называю верностью: когда человек жертвует удовольствием ради любви. Хотя допускаю, что кто-то другой мог бы, наоборот, усмотреть в таком поведении измену. Возможно также, что в моей психике уже тогда наметилась какая-то трещина, которая потом все углублялась, пока не довела меня до нынешнего состояния. Не знаю… впрочем, я не ищу себе оправданий. То, что я пишу, — не речь в свою защиту. И не призыв о помощи, засовывать эту рукопись в бутылку и бросать ее в море я не собираюсь. С тех пор как

человек научился мечтать, призывов о помощи и заброшенных бутылок накопилось столько, что, право, удивительно, как это еще кое-где осталось чистое море, как это оно все сплошь не запружено бутылками.

После той первой встречи с Дули я постоянно натыкался — и чертыхался про себя — на его имя, с которым прочно связался образ красавчика-миллиардера, недаром в шестидесятые годы его прозвали плейбоем номер один во всем западном мире. Знаменитые манекенщицы, самые лучшие и самые модные курорты, “феррари”, Багамы и целый рой молоденьких красоток, которым его богатство кружило голову так, что и платы не требовалось… Собственного вкуса и мнения у американца, похоже, не имелось, он полагался на чужие взгляды и суждения, нуждался в гарантии привлекательности. Если в ту пору столько мужчин вздыхало по Мэрилин Монро, то только потому, что по ней вздыхало столько других мужчин.

В последний же раз я видел Джима Дули в 1963 году, в имении промышленного магната Тьебона недалеко от Оспедалетти, где я гостил несколько дней. Лучшего частного пляжа, наверно, нет на всем итальянском Средиземноморье.

Гостей было человек двадцать. Сам Тьебон, хоть ему уже стукнуло шестьдесят восемь, а может, как раз поэтому, вовсю старался показать, как здорово он катается на водных лыжах. С невероятной легкостью выписывал он вензеля на волнах и, мало того, одновременно, наплевав на бремя лет и законы природы, играл в бильбоке — мы глядели на такое феноменальное мастерство, открыв рты. Все было бы замечательно, если бы не одна досадная деталь. Наш хозяин давал свои представления в девять утра, и всем гостям полагалось на них присутствовать. Отказаться от приглашения значило бы поступить неучтиво и даже жестоко. И вот мы всей оравой тащились на пляж и аплодировали подвигам престарелого спортсмена. Лысый, тощий, нос крючком, он отплясывал перед нами на воде и лихорадочно подкидывал и ловил шарик деревянной чашечкой, только балетной пачки не хватало для полноты картины. Какой-то кошмар в духе Гойи. Смешное и жалкое зрелище. Но гости добросовестно восхищались:

— Ай, молодец! Прямо юноша!

— Изумительно!

— И не поверишь, что ему почти семьдесят!

— Подумать только: во времена Мольера муж-

чина в сорок лет считался старой развалиной.

— Поразительный, поразительный человек, я всегда говорил: другого такого нет на свете!

Только один нахальный юнец лет двадцати ехидно промурлыкал:

— Э-то есть на-аш после-едний…

И вот однажды утром к нашей компании присоединился Дули, он приехал накануне. Все такой же невозмутимый красавец с буйной шевелюрой, он стоял в кимоно, обнимал за талию очередную кинозвезду, которую прихватил с собой для развлечения, и молча глядел на трюки молодящегося старикана — тот несся по воде спиной к берегу, задрав ногу, одной рукой держась за веревку, другой играя в бильбоке, и время от времени ловко поворачивался на 360 градусов.

– *Poor son of a bitch*, — усмехнулся Дули. — То-то смерть потешается, на него глядя. Верно, уж сто лет, как не мужик. Вот и ищет замену. Тошно смотреть. *Shit!*[1]

И ушел.

Вскоре образ красавчика-миллиардера, постоянно мелькавший в светской хронике и на страницах глянцевых журналов на фоне раз-

---

[1] Примечания: 1

Жалкий сукин сын… Тьфу! *(англ.)*

золоченных интерьеров и пышных фейерверков старой Европы, несущейся в вихре нескончаемого праздника к скорому концу, начал быстро тускнеть. Год или два о нем просто ничего не было слышно. Потом его имя снова появилось в прессе, но теперь уже в других рубриках и изданиях, например в “Файнэншл таймс” или “Уолл-стрит джорнал”, — в скупых, петитом набранных заметках, однако сама эта неброскость, подобно строгим английским костюмам с Севил-роу, служила клеймом высшей пробы для крупных дельцов, которые то поднимались, то опускались на волнах безбрежного, доселе невиданного в западном мире океана благоденствия. И с тем же рвением, с той же волей к победе, какие он обнаружил в гонках по бобслею, он ввязался в чемпионат Европы по процветанию и успеху. Потревожив мирный сон пылившихся в американском банке отцовских миллиардов, он вложил их в беспроигрышные бурные игры транснациональных компаний и приумножил; эти его достижения были отмечены в специальном номере журнала “Форчун”, посвященном американским инвестициям в европейскую экономику. К 1970 году диапазон его деловых интересов был так велик, что, как писали в “Шпи-

геле”, “стоило кому-нибудь попытаться скупить акции какой-нибудь компании, как у него на пути неминуемо возникала фигура Джима С. Дули”. Вместе с одной крупной франкфуртской фирмой он открыл банк в Швейцарии, который уже спустя два года контролировал “золотой треугольник” немецкого рынка недвижимости: Гамбург — Дюссельдорф — Франкфурт. Внезапное массовое изъятие денег со счетов, которое спровоцировало падение кельнского банка “Херштатт” и доконало империю Герлинга, скорее всего — хотя эти слухи официально опровергались, — было делом рук Дули, причем тщательно спланированным делом, недаром левая пресса открыто называла его “акулой дикого капитализма”. Я уже стал жалеть, что не познакомился с американцем поближе. Неимоверная финансовая мощь притягивала меня как магнит, и хоть я понимал, что мне — такому, каким я сам себя видел, — эта тяга не к лицу, противиться ей не мог. А еще я заметил, что банкиры говорили о Дули бесстрастным тоном и воздерживались от всяких оценок его действий — верный признак того, что на финансовый небосвод взошла звезда первой величины.

Вообще в те годы — примерно с шестьдесят

второго по семидесятый — над Европой словно опрокинулся рог изобилия, экономическому процветанию не предвиделось конца, и благодаря этому затяжному золотому дождю богатство стало почитаться высочайшей нравственной и чуть ли не духовной ценностью, чего не было со времен расцвета крупной буржуазии в девятнадцатом веке. Помню, как-то на приеме после заседания Совета Европы я услышал из уст супруги одного из европейских послов, побывавшей в Китае, потрясающее суждение. “Коммунизм, — сказала она, — годится только для бедных”. Римский клуб тогда еще не обнародовал своих апокалиптических прогнозов. Производство автомобилей было на подъеме. Кредитов — бери не хочу. Нефти — в избытке. Франция стала местом выгодных вложений. Строительство роскошных поселков вроде “Провансальской Венеции” Пор-Гримо приносило миллиардные доходы инвесторам, а у тех, кто раньше глотал слюнки, читая про бриллианты, подаренные Ричардом Бертоном Элизабет Тейлор, несметные состояния Онасиса и Ниаркоса или конюшни Буссака и Вильденштейна, появились новые предметы вожделения. Дела моих бумажных и фанерных фабрик и моего художественного издательства тоже шли в гору,

и я собирался учредить Европейский книжный клуб, для чего требовался начальный капитал в четыре миллиарда.

То, что записной бабник превратился в международного магната, меня не удивляло. Страсть к завоеваниям не проходит с возрастом, меняются только ее объекты, поэтому нередко с убыванием физической силы крепнет деловая хватка. Взять, к примеру, Джанни Аньелли: на шестом десятке лет он попал в аварию, после чего так энергично, пылко и с таким упорством взялся за семейный бизнес, что очень скоро превратил “Фиат” в промышленный гигант, один из лидеров растущей европейской индустрии. А его ровесник Пиньятари, в свое время прославившийся любовными победами на весь Париж и Рим, переключился на медные рудники и, поражая соплеменников-бразильцев непреклонной волей, добился немалых успехов. Пятьдесят лет — критический возраст, когда мужчина ищет новые поприща, дабы обеспечить себе устойчивое положение, которое не зависит от гормональных спадов.

В 1971 году мне попалось на глаза в одном журнале интервью с Джимом Дули, из которого явствовало, что он намерен выпрямить Пизанскую башню. Если только это не было злой

шуткой журналистки, некой Клары Фоскарини. По ее словам, американец заявил, что просто укрепить башню, чтобы она не рухнула, недостаточно, что человеческий разум при помощи современной науки способен одолеть безжалостное время и силу тяжести. Джим Дули, писала Фоскарини, позвонил ей в два часа ночи, как будто дело не терпело отлагательства, добрых полчаса излагал свою идею и выказал готовность лично финансировать работы. В конце статьи журналистка замечала, что возможности науки и техники все же ограничены — например, запах виски не передается по телефону.

Мысль выпрямить Пизанскую башню насмешила всю Италию, а Дули выступил с публичным опровержением: он-де ничего такого не говорил, а только хотел предложить итальянским властям объявить конкурс на лучшее инженерное решение, которое позволило бы предотвратить падение памятника. Конкурс и правда был объявлен, но правительственная комиссия отвергла все проекты, сочтя их неосуществимыми.

Через несколько дней после злополучного интервью я встретил на светском ужине в Париже ту самую смуглую красотку-актрису, которую Дули привозил с собой в Оспедалетти, — мы с

ней оказались соседями по столу. Она спросила, бывал ли я с тех пор у Тьебона. Я ответил, что обязанность каждый день наблюдать, как семидесятилетний старик истязает себя, доблестно играя в бильбоке на водных лыжах, для меня слишком тягостна.

— Да, — сказала актриса, — это было не очень приятно. Мужчины частенько умирают задолго до того, как лягут в могилу. Давно вы видели Джима?

Я сказал, что мы почти не встречаемся.

— Он тоже играет в бильбоке, — странным тоном заметила она и ухмыльнулась.

Этот тон и ухмылка разбудили мое любопытство.

— Вот как?

Прежде чем ответить, она повозила вилкой в перигорском соусе.

— Ну… у него свое бильбоке, а доблести он проявляет в крупном бизнесе. Мощнее его сегодня в Европе, пожалуй, никого и нет. — Она сделала глоток шампанского и с усмешечкой добавила: — Я, конечно, имею в виду финансовую мощь.

От этих слов у меня словно мороз по коже пробежал. Актриса отвернулась и болтала теперь с другим соседом, а я исподтишка приглядывался

к ней — верно, первый раз в жизни смотрел на хорошенькую женщину так, как смотрит на соперника вступающий на ринг боксер. И первый раз мужское достоинство представилось мне под таким углом. Прежде я как-то не видел тут пищи для иронии.

Окна бара “Гритти” выходят на Большой канал, поэтому Дули увидел меня издали и, едва взойдя на террасу, двинулся прямо ко мне с протянутой рукой. Обычно с “изваяниями” сравнивают женщин, однако мало кто так заслуживал чести быть высеченным в мраморе или отлитым в бронзе, как Джим Дули. Все в нем: фигура, рост, посадка головы — говорило о необычайной силе, казалось даже, что не природа создала такое совершенство, а рука скульптора, желавшего польстить заказчику. Он был без галстука, расстегнутый ворот белой рубашки размашистым треугольником лежал поверх спортивной куртки. Шевелюра его оставалась столь же курчавой и пышной, хоть и поседела, но буйные кудри уже не так удачно обрамляли лицо, которое не пощадило время. Черты его расплылись и сохранили с прежними, тонко очерченными, лишь смутное сходство, по которому память может опознать постаревшего знакомца. А ведь он старше меня лет на семь-

восемь, не больше. Одной рукой Дули крепко стиснул мою, а другой приобнял за плечо, — не переваривaю таких покровительственных жестов.

— Рад вас видеть, старина, очень рад! Последний раз мы, кажется, встречались… Когда же это, а?..

Он засмеялся, как бы извиняясь за то, что не может припомнить, подхватил меня под локоть и потащил к столику в самом углу бара. За пару недель до того я попросил в женевском банке, который контролирует Дули, ссуду в триста миллионов да еще скидку — аж пятнадцатипроцентную! — при уплате переводных векселей на почти такую же сумму. Знал ли он об этом? Кредитное сжатие начинало, как говорится, медленно, но верно душить меня.

Минут десять Дули разглагольствовал о политической ситуации в Италии и о том, как пагубно она сказывается на деле спасения Венеции. Ни один из принятых проектов пока еще даже не запущен. ЮНЕСКО и другие международные организации выделили огромные суммы, но пресловутых “решений правительства” до сих пор не последовало. То есть они давно подготовлены, но калейдоскоп правительственных кризисов парализовал центральную власть в стране.

— Уже пять лет я выслушиваю жалобы экспертов. Вы ведь знаете, именно я первым озаботился этой проблемой и оплатил начальные исследования.

По-французски он говорил свободно, бегло, но с сильным американским акцентом, что было очень забавно при его богатом лексиконе. Зеленоватый, как ноябрьское венецианское небо и вода в каналах Венеции, свет бил ему прямо в лицо и подчеркивал сходство с кондотьером Коллеони, каким представляет его конная статуя на площади Сан-Джованни-э-Паоло. Меня поразил стеклянный блеск его глаз, а еще больше — их напряженный взгляд, в котором мучительная, отчаянная тревога и даже призыв о помощи смешивались с полным безразличием к собеседнику, — взгляд, подобный набату, неумолчно звучавшему во все время любого, даже самого пустячного разговора. Голубые глаза Дули излучали такой страх, что каждый взгляд казался попыткой к бегству.

Сзади вдруг раздался кастаньетный треск — бармен взбивал коктейли со льдом.

– *Сохранять наше достояние* — вот главное! Вот девиз всей нашей цивилизации. Не сдаваться. Не уступать ни пяди. Но надо действовать! Я еще

помню самые первые проекты вроде знаменитого нагнетания в грунт цемента, который якобы не даст городу опускаться еще ниже. Чушь! Очень скоро выяснилось, что после таких “инъекций” Венеция, наоборот, потонула бы еще скорее. Еще была идея сдерживать высокую воду при помощи кессонов с воздухом. Но и она на поверку оказалась нереальной. И вот теперь, когда совершенно точно, научно установлено, что нужно делать, ничего не получается, потому что теперь уже разваливается вся Италия.

Он жестом попросил бармена повторить мартини, а потом вдруг впился в мою физиономию изучающим взглядом, словно только за тем и пришел, чтобы проверить, на месте ли у меня нос.

— Мы ведь ровесники? — спросил он.

— Мне пятьдесят девять лет.

— Мне тоже.

Я постарался не выдать своего изумления и сделать вид, что его слова оставили меня совершенно равнодушным, но, видимо, не очень удачно, потому что Дули тут же спросил:

— Вас это удивляет?

— Да нет, что ж тут удивительного.

— Просто у вас так вытянулась физиономия.

Я никак не мог привыкнуть к его французскому

— он говорил совершенно безукоризненно, но этот жуткий акцент!

— Выглядите вы моложе меня, — сказал он.

— Возраст ведь не обязательно декларировать.

— А как у вас обстоит с этим делом?

— Что вы имеете в виду?

— Говорят, вы держитесь молодцом.

— Я много занимаюсь спортом.

— Я говорю о женщинах.

Стоит какому-нибудь мужчине заговорить со мной “о женщинах” — непременно во множественном числе и таким тоном, будто мы оба знатоки постельного мяса, как во мне вспыхивает бешеная ненависть к нему, отдающая расизмом. Мне всегда претили эти назойливые излияния, подразумевающие, что мне так же приятно заглядывать в грязные углы человеческой психики, как и моему собеседнику.

Поэтому я молчал. А Дули сидел, уткнувшись глазами в стол, и рассеянно водил по нему рукой, словно забыв о моем существовании. Лицо его потемнело.

— Вам еще не начало казаться, что женщины становятся все шире?

— Я не совсем вас понимаю.

— Правда? Так я вам объясню. Я заметил это,

наверное, лет пять тому назад — вдруг почувствовал, что все женщины стали мне как-то широковаты. Началось с одной девчонки, ей было всего-то лет восемнадцать, но внутри она оказалась мне велика. Там у нее было слишком просторно, я почти не чувствовал прикосновения — ну, решил, что так уж она устроена.

— Это можно исправить с помощью простейшей операции.

— Да, но потом у меня появилась другая — датчанка, двадцать два года, фотомодель. Уж эта-то точно была скроена по лучшим стандартам той поры. Но я и у нее, представьте себе, натыкаюсь на тот же внутренний изъян! Дальше — актриса восточного типа, вы ее видели в кино. Та же история — она мне велика! Прямо удивительно — такая полоса невезения! И вот однажды я разоткровенничался по этому поводу со Стейнером, электронщиком — ну, вы знаете! Ему тоже под шестьдесят, и он тоже еще не сошел с дистанции… Это ведь самое главное, старина, не скиснуть, не сойти с дистанции… Так вот, он-то мне и открыл глаза на страшную истину… — Дули невесело усмехнулся. — Знаете, что он сказал? “Это не у женщин что-то увеличилось, а у тебя, дружище, кое-что уменьшилось”. — После этих

слов в монолитном гиганте словно бы образовалась трещина, Дули уставился куда-то поверх моего плеча, я машинально обернулся — стена и больше ничего. — За год я усох сантиметра на два, и твердости сильно поубавилось. Так-то, старина. От этого никому не уйти, чудес не бывает. В сорок четвертом я высаживался в Нормандии, на Омаха-Бич[2], под пулеметным огнем, потом освобождал Париж, а вы сражались в Сопротивлении, в подполье, стали полковником в двадцать шесть лет, а теперь у нас не стоит. Разве это не свинство?

— Действительно, незачем было и войну выигрывать. — Я попытался отшутиться. — Или, может, еще одну затеять — глядишь, взбодримся.

— Я, конечно, не считаю, что уж совсем никуда не гожусь. Но сами понимаете, каково это: лежишь с женщиной, а приступить не решаешься: знаешь, что он у тебя мягковат, может согнуться, не попасть куда надо, а от этих мыслей и опасений все и вовсе опускается. И что тогда? Рядом с тобой оказывается или добрая мамочка — утешает, гладит по головке, приговаривает: “Ничего,

[2] Примечания: 2

Омаха-Бич — кодовое название одного из пяти секторов высадки союзников во время Второй мировой войны на побережье Франции 6 июня 1944 г. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

милый, ничего, ты просто устал”, — или стерва, которая, того гляди, прыснет: как же, Дули, великий Джим Дули, больше ничего не сто́ит, он пустое место, слабак, у него не стоит…

— Упадок Римской империи.

Но он меня не слышал и не видел. Как будто меня и вовсе не было. Был только он один со своим несчастьем: он, Дули, импотент! И плевать ему на всех прочих! Глаза его опять остекленели, в них застыли безмерное отчаяние и горечь.

— Смотря какая попадется. Зависишь от них с потрохами. Напорешься на стерву — пиши пропало. Она раззвонит на всех углах: знаете Джима Дули? Так вот, он уже не того. Сенсация, открытие Америки! По счастью, всегда находятся и такие, что во всем винят себя — будто это они не способны возбудить мужчину. Ну, и потом, я же завидный любовник, женщина не хочет меня потерять, вот и расхваливает. В шестьдесят лет он еще хоть куда! Такая силища!

Дули сделал вежливую паузу, чтобы дать мне время ответить откровенностью на откровенность. Но я старательно раскуривал сигарету.

— А чем больше думаешь, получится у тебя или не получится, тем, понятно, хуже получается, такой психологический трюк. Ты начинаешь

психовать и, чтобы успокоиться, делаешь все новые и новые попытки… дальше попыток дело обычно не идет… В конце концов, ложишься с женщиной не потому, что хочешь ее, а чтобы увериться в себе. Чтоб доказать себе, что ты еще в форме. И если все проходит нормально, думаешь: уф! Меня еще рано списывать! Я еще мужчина! И знаете, раньше, глядя на женщину, я прикидывал, по вкусу она мне или нет, а теперь думаю: вдруг у нее оргазм не клиторальный, а вагинальный, что тогда? И ведь заранее не поймешь, все выясняется на месте.

— А просто любить кого-нибудь вы не пробовали?

В первый раз за все время я уловил в его голосе проблеск юмора:

– *Чем* любить-то? В том-то все и дело, старина! *Чем?* Знаете анекдот про парня, который проходил медкомиссию? Врач просит: “Покажите свои половые органы”, — а тот открывает рот, показывает язык и говорит: а-а-а! Этакую подлость с нами учинили! Ладно бы еще рухнуть сразу — как молния в дуб ударяет: шарах — и готово! Отлично! Но когда ты наедине с красивой бабой, лежишь с ней в постели — и ничего… Однажды я валялся, как жук на спине, после очередной осеч-

ки, а моя красотка напрокат одевалась. Взглянула на меня, а у меня рожа, видать, как у покойника в гробу. И вот она докурила сигаретку и говорит: “Такие, как вы, не могут смириться с оскудением потенции, потому что привыкли к богатству”.

— Пожалуй, в этом что-то есть, — сказал я безразличным тоном, как всегда, когда говорю о себе.

— Мне попалась проститутка левых взглядов, старик, такие не просто спят с вами, а наблюдают и изучают. Самое противное, что я никак не могу отступиться. Натура такая. Я не привык сдаваться. Бьюсь до последнего. Всю жизнь был бойцом.

— И всегда побеждал. Записной чемпион.

— Ну да… Кстати, я вспомнил, где мы с вами виделись в последний раз. На чемпионате Европы по бобслею…

— Ошибаетесь. В последний раз мы виделись у Тьебона… помните — бильбоке?

Дули повернулся лицом к водной глади за окном, и яркий свет вдруг, словно невидимым резцом, углубил его морщины. Тонкие, хоть и размытые возрастом черты, завитки волос точь-в-точь как на античных бюстах и медалях, однако совершенно неожиданное для римских цезарей выражение — отчаяние, какого не най-

дешь в творениях древних мастеров.

Одного я не понимал:

— Почему вы это все рассказываете именно мне?

— Потому что я вас почти не знаю, а такое легче выложить незнакомому человеку. И потом, мы оба воевали… оба победили. Это как-то сближает. — Он посмотрел мне прямо в глаза. — Так как у вас обстоит с этим делом? И не вздумайте рассказывать мне сказки, старина. Мы с вами ровесники.

Меня уже давно подмывало встать и уйти, но чуткий инстинкт самосохранения подсказывал: Дули потому спокойно вытирает об меня ноги, что знает — теперь-то можно не сомневаться — про ссуду и скидку, которые я попросил в его банке. Сопротивляться я не мог. Оставалось пожать плечами:

— Не для того же вы подняли меня в семь утра, чтобы мы обменялись сводками о состоянии наших эндокринных систем.

— Вы, говорят, до сих пор сильны по этой части. Вот я и подумал: поговорю-ка с ним… как ветеран с ветераном. Спрошу, как он выкручивается. Я ведь наслышан про вашу восхитительную бразильяночку.

Тут я все же встал:

— Вот что, Дули, хватит. Вы пьяны. Вам надо лечь и уснуть. Проспитесь — полегчает.

Дули поставил рюмку на стол:

— Сядьте. Вы мой должник. Мой банк дает вам кредит, о котором вы просили. И скидку тоже. Все были против. Считали, на вас можно ставить крест. Я тоже так думаю. Вернее, не думаю, а знаю. Как и вы. Просто вы еще петушитесь. Или, может, не знаете? Или не хотите знать?

Я рассмеялся. Причем непритворно: у меня камень свалился с души от этой новости.

— С каких это пор швейцарские банки дают деньги заведомо обреченным предприятиям?

— С тех пор, как им велит это делать добрый дяденька Дули. Вам крышка. Капут. Хоть, может, вы действительно этого не знаете, все мы живем надеждой. Каждый думает, что все как-нибудь… восстановится.

— О чем вы говорите: о себе, обо мне или о Пизанской башне?

— Смешно. Нет, вы, кажется, в самом деле не сознаете, насколько все серьезно. Боитесь посмотреть правде в глаза. Так бывает сплошь и рядом: человеку нужно много времени, чтобы разобраться в том, что происходит с ним самим.

— Кляйндинст предлагает за мою фирму три миллиарда.

— Два с половиной.

— А я прошу четыре.

— Как же, знаю. Любопытно. Если пожелаете, мы еще поговорим об этом. Зайдите ко мне, прежде чем согласитесь на продажу. — Он отхлебнул из рюмки и пробормотал: — В гробу я видал этого Кляйндинста!

В сочетании с жутким американским акцентом это прозвучало так комично, что я покатился со смеху.

Наверно, сказалось и нервное напряжение, в котором, как я только что понял, я жил вот уже несколько месяцев.

— Чем он вам насолил? В бильярд обыграл?

— Просто я его не перевариваю.

— Но почему, если не секрет?

— Вам не понять, дружище. У вас, французов, не та весовая категория. Кто у вас есть из гигантов? Сильвен Флуара? Так ему уже сколько — лет семьдесят пять? Буссак, Пруво... этим и вовсе под девяносто. Притом Буссак недавно отошел от дел. И не оставил преемника. Среди французов достойных соперников нет. В Италии был Джанни Аньелли, но профсоюзы подрезали

ему крылья. Остался разве что Чефис. Был еще Герлинг в Германии, но его подкосило падение “Херштатта”. В Европе уцелело всего несколько игроков, они-то и дерутся за первенство. Кто? Вы знаете их всех не хуже меня. Бош, Бюрба, Грюндиг, ну, еще, пожалуй, Неккерман да Оцгер. Но лидеров двое — Кляйндинст и я. На этом фронте я еще во всеоружии, тут меня еще не списали в запас. Проглотить Кляйндинста целиком мне, может, и не под силу, но оттяпать у него СОПАР я бы не прочь. Если вы мне мигнете, прежде чем подписывать с ним контракт, то не пожалеете. Сами знаете, этот сукин сын норовит захватить первенство в Европе по всем позициям.

Лет десять-пятнадцать назад, подумал я, за этим столиком в “Гритти” или в баре по соседству мог бы сидеть и вести такие же речи о своих соперниках на литературном поприще Хемингуэй. Вот кого жгучая потребность быть первым в мире довела до самоубийства. Все мы только и делаем, что тягаемся друг с другом, но американцы, в отличие от других народов, и мысли не допускают, что можно проиграть и продолжать жить дальше.

— До свидания, Джим.

— До свидания. Всегда приятно поговорить

о добром старом времени. Надо бы почаще встречаться. У нас ведь столько общих воспоминаний. — Дули указал пальцем на лацкан моего пиджака: — Кто-кто, а уж я знаю цену этим ленточкам.

Глава II

Я вернулся в номер. Шторы были еще задернуты, и лампы, не погашенные с ночи, освещали картину лихорадочного бегства, наспех упакованные чемоданы. Лаура сидела в кресле, поставив на пол у своих ног проигрыватель, и слушала пластинку. Голова ее была откинута, длинные волосы струились до самого ковра. Я переступил через Баха, Моцарта, Ростроповича и рухнул на диван. Вид у меня, наверно, был примерно такой, какой бывает у человека, вдруг узнавшего, что у него украли все сбережения, которые, как он полагал, были надежно схоронены в тайниках его души. Дули все перерыл да так и оставил вверх дном.

— Что с тобой, Жак?

— Ничего. Небольшой внутренний монолог.

— А по какому поводу?

— Язык мой — враг мой.

Лаура опустилась на колени перед диваном, облокотилась на него и нагнулась над моим лицом:

— Говори!

— Я думал об упадке Римской империи. Каждый знает по себе, что такое упадок Римской империи, но воображает, будто это несчастье постигло его одного. Очень демократично. И очень по-христиански… Смирение, отречение и все такое…

— Ну и вензеля ты выписываешь!

— Да еще на воде. Я в этом деле так силен, что наверняка мог бы играть в бильбоке на водных лыжах.

— Что он от тебя хотел?

— Мы поговорили с часок о необратимых процессах.

— О чем о чем?

— О Венеции, конечно. Она тонет, и тут ничего не поделаешь.

— А кто такой этот Дули?

— Он обладает огромной силой… в мире бизнеса. У американцев совсем не развито чувство невозможности. Пару лет назад Дули задумал выпрямить Пизанскую башню. Ну и вот. В жизни не видал, чтобы человек уже с утра мог впасть в такое отчаяние.

Лаура положила голову мне на плечо.

— Я люблю тебя, — сказала она, чтобы я не забыл, что на все случаи жизни есть один-единственный ответ.

В Лауре живет “дитя блаженных островов”, виной тому отчасти бразильская кровь, а еще больше — доверчивое отношение к жизни. По утрам она распахивает окно навстречу новому дню так, словно этот старый лентяй с самой зари поджидал ее, чтобы осыпать дивными дарами. Веселые горячие искры блестят в ее темных глазах под прямыми, густыми как джунгли бровями, — не могу без жалости смотреть на выщипанные догола лбы с блекло-коричневыми карандашными дугами, сгубившими переливы света и теней, — волосы она обычно закручивает узлом, а когда распускает, у меня каждый раз захватывает дух от того, как мгновенно оживляется лицо, только что дышавшее покоем. Губы всегда приоткрыты и кажутся какими-то осиротевшими, будто их сотворили долгим, внезапно прерванным поцелуем, и во всем — от безмятежного лба до умилительно дерзкого подбородка — чудится звучное ликование юности, уверенной, что ничто никогда не кончается.

— Ну а по правде, Жак, скажи, что с тобой?

— Я увидел карикатуру на самого себя, и она оказалась очень… похожей.

До недавних пор меня не мучила “предзакатная тревога”: любить было некого, и всякие техниче-

ские детали казались полной ерундой. Случайные связи длились недолго, так что задумываться о будущем не приходилось. И, в отличие от многих постепенно сходящих с дистанции мужчин, я не травил себя неутешительными подсчетами удач и осечек. Понимал, конечно, что силы убывают, но не расстраивался — наоборот, находил в своем состоянии известные преимущества. Если, например, женщина медлила — темперамент такой или просто нарочно, — то теперь, поскольку пыл мой поутих, а чувствительность притупилась, мне было нетрудно протянуть сколько надо, чтобы не разочаровать ее. Думаю, именно по этой причине одна молодая дама отрекомендовала меня своему мужу “джентльменом до кончиков ногтей”. Услышав это от него самого, я удивился, смутился и невольно посмотрел на свои ногти. А другая сказала мне после того, как я благополучно выдержал весь срок, который понадобился ей, — но только потому, что никак не мог кончить: “С молодыми у меня ничего не выходит. Они слишком торопятся, никакого терпения”. Видимо, она предпочитала иметь дело со старым заслуженным тружеником.

— А еще… я первый раз в жизни люблю вот так: отчаянно.

— Что значит любить отчаянно?

— Мы с тобой, Лаура, находимся на разных концах жизненного пути. Впрочем, написал же Эразм “Похвалу глупости”, хоть ни тебя, ни меня не знал, а значит… Не знаю, что это значит, но быть в одной компании с Эразмом уже неплохо.

Лаура вздернула свой упрямый подбородок и посмотрела на меня серьезно, как ребенок, который отказывается играть, раз с ним жульничают:

— Так что значит любить отчаянно?

Мы с Лаурой встретились полгода тому назад, так сказать, по ошибке. Она приняла меня за другого. У меня было два билета на концерт Гилельса, второй оказался лишним, и я отдал его при входе какому-то студенту. В подобном случае, раз ничье имя не приходит на ум само собой и начинаешь листать записную книжку, соображая, кого бы пригласить, лучше уж не звать никого, хотя бы ради друзей: не стоит оскорблять их столь явным пренебрежением — иначе ведь свою забывчивость не объяснишь! А на выходе ко мне подошла девушка с черными волосами и золотистой кожей — такую солнце дарит только своим кровным детям, гостям она не достается — и протянула программку:

— Простите, можно попросить у вас автограф? Я ваша давняя поклонница.

Я великодушно расписался:

— Пожалуйста. Но скажите, мадемуазель, откуда вы знаете, что я играл в сборной по регби в тридцать шестом году? Вы ведь тогда еще не родились.

Девушка растерялась, взглянула на программку:

— Ох, простите, простите меня! Я приняла вас за Майкла Сарна, а это мой любимый композитор, ну и…

— Сарн лет на пятнадцать младше меня. Что ж, это окрыляет. Надо будет попробовать что-нибудь сочинить. Может, это знак судьбы. Женская интуиция не обманывает.

Словом, я стал с ней заигрывать, она, конечно, поняла, но в тот же миг мне стало ясно, что такая игра недостойна нас обоих.

— Извините, — сказал я, и, помню, вдруг, без всякой видимой причины, у меня сжалось сердце, как будто в этот самый миг я понял: вот оно, наконец, пришло, но слишком поздно.

Я наклоняюсь к ней, касаюсь ее лба губами… Перехожу с прошедшего времени на настоящее — так легче выжить.

— Это значит, Лаура, что мы встретились по ошибке. Помнишь? Ты сказала, что приняла меня за другого. И это действительно так.

Больше ни слова. Мы с самого начала условились никогда не говорить о разнице в возрасте. С первых же дней мы оба верили, что жизнь может явиться вот так, под конец, и все исправить, как королевский гонец в последнем акте у Мольера. И все же я на тридцать семь лет старше Лауры, и очень скоро я стал подозрительно прислушиваться к своему телу, как будто его подменили. Я знал, как пагубна такая озабоченность, но избавиться от нее никак не мог и все чаще после близости с Лаурой был не просто счастлив, а счастлив оттого, что оказался на высоте. Может, в отношениях с женщинами мне не хватает братских чувств, а без них любовь и счастье превращаются в чемпионат мира. Одно дело мужественность, а другое — амбиции самца, заболевание, широко распространившееся за тысячелетия господства, честолюбия и страха проиграть. Мой друг поэт Анри Друй пустил себе пулю в лоб, оставив вместо предсмертной записки клочок бумаги со словами: “Легенда о крутом мачо”. А его подруга кричала: “Не понимаю, ничего не понимаю! Он был прекрасным любовником!” Ну да, настолько

прекрасным, что она ничего не замечала. Передо мной вдруг нарисовалась ухарская физиономия Джима Дули, и я представил себе, как он говорит со своим забавным акцентом: “Эта небось была клиторальная. Везет же некоторым”. Ну нет, мне такого не надо. Надо уметь вовремя поставить точку.

Мне всегда казалось, что к старости подводит само старение. Что есть какие-то сроки, ступени, знаки, все происходит мало-помалу, человек успевает собраться с мыслями, приготовиться, отстраниться, подстраховаться и вооружиться спокойствием и “мудростью”. А в один прекрасный день вдруг обнаруживает, что думает об известных вещах отстраненно, о своем теле вспоминает с умилением и у него открылись новые интересы: бридж, путешествия, антиквариат. Настоящих осечек у меня еще не случалось. Все действовало вполне исправно. То есть, конечно, пылкие ночи, когда не можешь насытиться до утра и даже сбиваешься со счета, остались далеко позади. Но и нужды в таких подвигах больше не было: выполнил что положено и что положено получил взамен — да и все. Такой обмен любезностями. И встреча и расставание — все очень мило, а потом, на почве приятных воспоминаний,

нередко даже вырастала дружба, приправленная терпкими намекающими улыбками. Если попадалась, скажем так, нестандартная партнерша, то надо было проявить некоторую гимнастическую сноровку, раньше это не стоило бы мне никаких усилий, теперь же создавало некоторые затруднения, связанные, однако, не с потенцией, а с дыханием, ловкостью и выносливостью. В первый раз я в полной мере ощутил это с подружкой по имени Алина. Ей, в силу не знаю уж какого первоначального опыта, требовалось, чтобы, проникая в нее, я одновременно ласкал ее рукой. Итак, я должен был стоять на коленях, наклонившись к ее спине и вытянув руку, так что внедриться глубоко не было никакой возможности, а помимо того Алине хотелось — как она мне сообщила перед самым выходом на ковер, — чтобы я подольше и посильнее, почти до боли, сжимал ей соски. Но и это еще не все: войдя в раж, она так извивалась и дергалась во все стороны, что мне приходилось удерживать ее, обхватив рукой за талию, чтобы она не вытолкнула меня во время какого-нибудь особенно неистового фортеля. Мне не хватало рук — нужна была еще хоть пара, чтоб справиться с такой задачей. Я так напрягался физически, что был уже не в состоянии

отвлекаться на более тонкие эмоциональные и нервные импульсы, и когда минут через пятнадцать наш номер успешно завершился, я испытал самое большое удовольствие оттого, что мог наконец передохнуть. Но женская натура бесконечно щедра на самые разнообразные вариации, и на свете столько женщин, что всегда можно подобрать себе идеальную пару. Лишь встретив Лауру, я в полной мере осознал, что ресурсы мои истощаются. Такого в моем долгом мужском опыте никогда прежде не бывало: чтобы в объятиях женщины я не забывался, а, наоборот, зорко надзирал за собою и не предавался чувствам, а следил, чтобы они меня не предали. Никогда прежде не знал я мерзкой суеты: все время думать, затвердело или нет, держится или гнется, и исподтишка проверять рукой свою “готовность”.

То есть, наверное, все это возникло не в один день, но как-то мало меня волновало. Недостаток любовного пыла, если он имел место, я списывал на то, что и большой любви тоже нет, а все остальное не имеет для меня значения. Считал, что становлюсь более разборчивым в отношениях с женщинами, больше вникаю в их личность, что теперь мне не все равно, с какой женщиной лечь в постель, и что дефицит чувств понижает мой

потенциал. Но с Лаурой страусиная политика не проходила. Никого и никогда я не любил так, как ее, готов был отдать ей всего себя. И вообще забыл, что до нее у меня были другие возлюбленные; не потому ли, что счастливая любовь всегда преступна — она безжалостно убивает все предшествующие. Каждый раз, когда мы с Лаурой сливались воедино и погружались в тишь глубинных слоев бытия, оставив слова трепыхаться на поверхности и презрев болтающиеся чуть ниже крючки будней с наживкой мелких удовольствий, долгов и обязательств, рождался новый мир, знакомый всем, кто еще не забыл великую истину — наслаждение порой стирает ее из памяти: мы живем мольбой о том, что может дать лишь любовь женщины. Где бы это ни происходило: в ее номере в “Плазе” или в моей парижской квартире на улице Мермоз, все вещи вокруг нас, даже самые заурядные, превращались в храмовую утварь. Светильники, мебель, картины на стенах наполнялись неким тайным смыслом и за несколько дней успевали стать дорогими воспоминаниями. Ничто не казалось пошлым, банальным, избитым, потому что все было впервые. Слова, обычно вызывающие брезгливость, как грязное белье, все в тошнотворных

пятнах лжи, обрели свежесть первого лепета, первого признания, нежность материнских или собачьих глаз, — в них слышалась та первобытная поэзия, которая существовала прежде, чем родились на свет поэты. Вся жизнь до встречи с Лаурой казалась мне лишь стопкой набросков, черновых набросков жизни, черновых портретов женщин, эскизов твоего портрета, Лаура. И каждый мой роман заклинивало на предисловии. Мелькали лица, множились интриги, постельные сцены, любовные игры проходили как по маслу, со свиданиями и расставаниями, но все это было не то, судьба подсовывала мне фальшивку, не настоящую, а поддельную любовь. Иной раз подделка была состряпана довольно ловко, даже нитки не торчали, на то и мастерство, чтобы о нем никто не заподозрил: живешь себе, довольствуешься самой малостью, дешевкой, приятно — и ладно; нельзя же ждать всю жизнь, пока судьба преподнесет тебе шедевр. Встреча с Лаурой была шедевром моей судьбы, но это был коварный подарок. Нет, мое увядающее тело пока еще не отказывалось мне служить, но все больше и больше кричало о себе и оттесняло Лауру. Я обнимал ее, а тело тяготило меня, мешкало, заставляло считаться со своими ограниченными

возможностями; я сгорал от страсти и нетерпения, оно же требовало церемоний, ублажений и приспособлений. От звучной песни остался только шепот…

И вот ты лукаво смотришь на меня:

— Не думай, Жак, что я не смогу прожить без тебя и буду тебя удерживать.

— Знаю-знаю.

— Ты можешь уйти, когда захочешь, я слова не скажу, просто пойду за тобой, но это уж дело мое, а ты чувствуй себя совершенно свободным. Конечно, если ты полюбишь другую, то, будь добр, скажи мне, травиться таблетками я не собираюсь, это был бы шантаж, я просто посмотрю на эту женщину, красивая она или нет, а потом надену свое подвенечное платье, лягу и тихо умру от хованщины.

— “Хованщина” — это опера.

— Да? А звучит как название какой-то болезни, с рвотой и красными пятнами. И тогда доктор скажет тебе: “Месье, у вашей подруги хованщина, это безнадежно”. И ты прибежишь ко мне во фраке, после ночи любви, отшвырнешь свою скрипку и с рыданиями рухнешь на колени.

— Какую скрипку? Откуда у меня возьмется скрипка?

— В такой драматический момент нельзя без музыки.

— У тебя знойная фантазия.

— Это называется — барочная. Все современные латиноамериканские романы и фильмы насквозь барочные. У нас прекрасная литература, и ты теперь в нее вошел. Я уже написала и разослала с дюжину писем своим подругам в Рио, чтобы они мечтали о тебе. Ты прогремишь на всю Бразилию как идеальный любовник. У меня, я ведь тебе говорила, есть там связи. Ну что, сумасшедшая я?

— Нет, Лаура. Но у нас дети перестают фантазировать гораздо раньше, потому что привыкли к умеренности, она у нас во всем: в ширине полей и даже в солнечном свете. Нам не хватает Амазонки.

— Неправда, у вас есть Виктор Гюго!

Ты щекочешь мои губы кончиками пальцев, улыбаешься, прижимаешься головой к моей щеке и шее, и… наверное, человеку доступна какая-то другая форма жизни, надо порыться в библиотеке. Парус за парусом неслышно скользят к отрадным берегам и расплываются по моим венам, оставляя за собою ласковые теплые волны. Я обнимаю тебя за плечи и чувствую немыслимую силу в изнемогающих от нежности руках. Гово-

рят, где-то там, по ту сторону невидимой завесы, есть иная жизнь, но все это сказки. Рой минут уклоняется в сторону, и стрекот его тает вдали.

— Лаура…

— Что? Спрашивай меня о чем угодно — сейчас я знаю все!

— Да нет… Просто мне захотелось назвать тебя по имени.

Я никогда не гонялся за счастьем, скорее мечтал проникнуть в храм. Когда я обнимаю тебя, я точно прижимаюсь к алтарю, и твое тело дает мне покровительство и милость. А мучительница-жизнь дожидается, когда истечет срок неприкосновенности и можно будет снова на меня накинуться. Когда мы слиты, нас окружает ореол в кои-то веки просиявшего во всей полноте христианства: ореол любви, прощения и справедливого воздаяния; когда же снова начинаем дышать врозь и половинки распадаются, остается отрадное воспоминание о таинстве и нечто прочное, хотя и невещественное: уверенность в том, что двери храма откроются вновь.

Ты заглядываешь мне в глаза. Но никогда не задаешь любимый вопрос многих женщин: “О чем ты думаешь?” — вопрос, который сносит все живое, как бульдозер. Ты приникаешь губами к

моим губам, все мое тело вспыхивает, и вот-вот, как встарь, взыграет ретивое. Желание пока еще вскипает безотчетно, но ему тут же требуется подмога. Я вижу вдруг лицо насмешницы Карлотты; как я, бывало, веселился, когда она говорила, со своим итальянским акцентом: “Если мужчина направляет мою руку, а потом и мою голову, я знаю: этот уже на пределе”. Всего в ней было чересчур: и пылкости, и опыта, и острого ума. Я ласкаю тебя, где-то руки скользят, где-то настойчиво задерживаются, но больше всего стараюсь этими ласками подстегнуть самого себя. Прикасаюсь к тебе едва-едва, чтобы твои груди, твои бедра еще сильней притягивали мои ладони и распаляли меня. Главное — не думать, не ждать, не контролировать себя, а включить сознание второго порядка, которое знает, как может навредить сознание. Истома заволакивает твое лицо, глаза, твоя рука сама ищет меня.

— О, вот, вот, вот…

Мое как встарь взыгравшее ретивое так и рвется ей навстречу, но нет уже во мне того буйного, хмельного азарта, и, вместо того чтобы отдаться стихии и щедро, без всякой меры, счета и расчета растрачивать себя, я, как мелкий скряга, прикидываю: вот выгадал за счет искусной любовной

прелюдии целых десять минут, и не придется перенапрягаться, растягивая последнюю, внутреннюю стадию. На собственное наслаждение мне плевать — да и как может быть иначе, когда речь идет о жизни и смерти! Я выкладываюсь на всю катушку и уже перестаю понимать, за что бьюсь: за Лауру или за пьедестал почета. То вдруг меня охватывает пронзительная нежность к этому хрупкому, доверчиво полагающемуся на мою силу существу. А то прошибает холодная ирония и, ей-ей, слышатся вопли болельщиков, подбадривающих сборную Франции на чемпионате мира.

Но это еще не самое смешное. Чем больше я терял уверенность в себе, тем упорнее пытался обрести ее, настаивая на “втором разе”. Словно давал самому себе гарантийную надбавку в предвидении скорого краха. Иногда, невероятным усилием воли и ловко пользуясь еще будоражившим кровь лихорадочным возбуждением, я совершал этот подвиг. А когда взгляд Лауры сначала туманился, потом прояснялся и она искала мои глаза, у меня еще хватало пороху на то, чтобы изобразить непринужденную царственную улыбку большого мастера, ласково-снисходительную и такую мужественную!

Мы были вместе уже полгода, и ты, любимая, ничего не замечала. Я держался молодцом. А ты, в силу своего счастливого характера, была, сама того не зная, совсем неприхотлива.

Мы провели в Венеции еще два дня, часами гуляли по городу, заходили во все церкви. А вечером ты, ты сама отстранялась, когда я тебя обнимал, и говорила: “Ох, нет, Жак, пожалуйста, я смертельно устала, не понимаю, как тебя еще хватает, надо же, какая силища!”

Отлично! Значит, нужно обеспечивать плотный туристический график. Что ж, поскольку в моем распоряжении все музеи Франции, я, глядишь, еще повоюю.

Глава III

Лауру я оставил в гостинице, а сам заглянул домой, на улицу Мермоз. Квартира встретила меня чистотой и порядком, каждая-вещь-на-своем-месте, отчего я сразу почувствовал себя как будто не дома — слишком уж не соответствовала эта упорядоченность моему душевному хаосу. На столе — множество записок, и все начинаются одинаково: “Срочно позвоните…” Диктофон хорошо поставленным голосом моей секретарши сообщает: “Ваш сын просит вас, как только приедете, зайти в контору”. Я улыбнулся. Что, интересно, я могу поделать с инфляцией, катастрофическим — на двадцать процентов за последний год — сокращением заказов, с обвалом биржи, где мои акции за каких-нибудь три месяца упали в цене на три четверти, с энергетическим кризисом и самым крупным со времен колумбова яйца открытием: подумать только, в Европе нету своего сырья!

Я позвонил сыну:

— Привет, Жан-Пьер.

— Здравствуй, папа.

Я ждал его вопроса. В цюрихский филиал я еще ни о чем не сообщал, да он и не вел никаких дел. Существовал чисто формально, чтобы фирма имела официальное положение в глазах швейцарских властей и я мог легально вести операции с Французским банком. Жан-Пьер ни разу не позвонил мне в Венецию. Но моего сына никак нельзя назвать нетерпеливым, вспыльчивым или излишне эмоциональным; должно быть, он насмотрелся на меня и сделал для себя выводы. Наверно, долго и внимательно следил за собой, чтобы не походить на меня, — вот что значит отцовское влияние! Пауза затянулась — получалось, будто я молчу для пущего эффекта, что ж, ладно:

— Мы получили кредит и скидку.

— Ну-ну.

— Скажи честно, ты и представить себе такого не мог.

— У меня не очень богатое воображение. Как это они решились?

— В конечном счете все, видишь ли, зависит от личного фактора. Они меня знают, знают, что…

Я чуть не сказал: “Знают, что я привык бороться до последнего”, — но вовремя прикусил язык — пожалуй, это было бы некстати — и перешел

на привычный, как домашние тапочки, иронический тон:

— Когда Жискар д'Эстен погрузился в море на подводной лодке[3], я испугался. Не что утонет, а что пойдет по водам. Вот и я такой же — творю чудеса.

— Да уж. Я и правда ни на секунду не верил. Наши дела — из рук вон.

— Что ж ты хочешь, Европа подходит к бесславному концу. Ее жизнетворные силы иссякли. Восемьдесят процентов сырьевых ресурсов мы заимствуем у других. Серое вещество у нас, что и говорить, имеется. Котелок еще работает. Но источники энергии, так сказать, запасы спермы, находятся не у нас, а в третьем мире, в наших бывших колониях. Пришла пора взглянуть правде в глаза.

— Ты зайдешь в контору?

— Незачем, я и так все знаю.

— После твоего отъезда отменили еще несколько заказов. Кроме того, теперь запрещено сокращать персонал.

— Да, я читал. Что поделаешь, это естественно. Давай завтра пообедаем вместе и обо всем погово-

---

[3] Примечания: 3

7 ноября 1974 г. президент Франции Валери Жискар д'Эстен участвовал в суточном погружении ядерной подводной лодки "Терриблъ".

рим. Я передам через Мариетту, где именно. — Я помолчал, прежде чем сказать главное. — Жан-Пьер!

— Да?

— Я почти решил продать фирму.

Теперь замолчал он.

— Серьезно об этом подумываю. — Меня вдруг прорвало: — Не могу же я воевать на всех фронтах сразу!

Вот так я первый раз признался самому себе, что не все у меня ладится с жизненными функциями… и с Лаурой.

Я повесил трубку и стал разбирать чемодан. Вынимая и раскладывая в ванной по местам вещи из несессера, наткнулся на какую-то бумажку и развернул ее — рецепт. Вон его, в мусорную корзинку! Я твердо решил — никогда не принимать таких вот “укрепляющих”. Да и не за тем ходил к доктору Трийяку. У меня появились боли в паху, скорее всего, ревматического характера.

— У вас увеличена простата.

— Да?

— Мочитесь хорошо?

— Пока не жалуюсь.

— По ночам встаете?

— Иногда, если не спится.

— Я имею в виду, чтобы помочиться.

— Я как-то не задумывался.

— А струя у вас сильная?

— Простите, не понял.

— Когда вы мочитесь, струя у вас какая: сильная, бодрая, бурная, дугой — или моча сочится слабой тонкой струйкой, с перебоями, так что приходится делать усилие, чтобы опять полилось?

— Да я не замечал, мочусь себе как придется. Я послежу, конечно, но…

— А трусы у вас не промокают?

У меня отвалилась челюсть.

— Ну да, у мужчин после пятидесяти так бывает: вам кажется, что уже всё, вы заправляете пенис, но несколько капель еще вытекает. Понимаете, слабеет мышечный контроль, грубеют сфинктеры, и на белье остается пятно. То же самое сзади.

— Как это — то же самое? Что, помилуй бог, вы имеете в виду?

— Мускулатура расслабляется. Барахлит клапан.

— Нет, ничего такого я не замечал.

— Поначалу обычно никто не замечает. Вас, значит, беспокоят боли и тяжесть в паху?

— Да, иногда.

— Боль острая и резкая?

— Да нет, тупая.

— После эякуляции?

— Да, и еще когда очень устану. Но тогда скорее тянет.

— Это простата и семенные протоки. Ничего страшного, но процесс может стать хроническим. Механизм поизносился. Ставьте себе свечу каждый раз после полового сношения.

— Что вы говорите, доктор! По-вашему, я должен каждый раз после… после любовной близости вскакивать и…

— Не хотите — принимайте сидячую ванну со льдом. Будет легче.

— Послушайте, если после любовных ласк надо искать облегчение…

— Речь, месье, идет об организме, его функциях и требованиях, которые он способен выполнить. Поэзия не по моей части. У вас не возникает затруднений? Вы всегда добиваетесь эрекции?

— Пока еще добиваться не приходиться, она у меня есть — вот и все.

— Как часто? Причина ваших болей — механическая перегрузка, в этом нет никаких сомнений. Ваши слизистые не выдерживают. Да-да, месье, видите ли, пока сперма и простатическая жид-

кость выделяются в изобилии, все действует нормально, но с возрастом количество спермы уменьшается, иногда она пропадает совсем и при эякуляции выделяется одна только простатическая жидкость. Наступает, как говорят, “оргазм всухую”. Семенные протоки не получают достаточно смазки, простата сжимается, но не опорожняется, ткани наливаются кровью, причем это происходит постоянно, отсюда и чувство тяжести. Не надо излишеств. С организмом нужно обращаться бережно. Вот почему я спрашиваю, как часто у вас бывают половые сношения.

Во мне закипала ярость. Я снова чувствовал себя в тисках холодной, циничной, не знающей жалости силы, не от врача, конечно, исходящей, а безликой и бесконечно враждебной, которая с насмешкой и презрением играет с жизнью, любовью, со всеми высокими чувствами. Отчаяние, боль и возмущение нахлынули с такой силой, что ирония из оборонительного оружия превратилась в острый скальпель, которым я, в дополнение к этому уроку анатомии, принялся кромсать сам себя.

— Как часто, доктор? Это зависит от требований момента. В начале романа приходится расхо-

довать себя, чтобы произвести впечатление и закрепить завоевание, потом, когда начальный пыл уляжется и ты сумеешь как следует себя поставить, живешь на этот капитал, а под конец, когда все уже приедается, заставляешь себя выполнять мужские обязанности почаще, чтобы не выглядеть хамом и красиво расстаться.

— Да-да, я знаю, женщины все друг другу рассказывают.

— Я не об этом. Меня не очень заботит, как я котируюсь на рынке мужской рабочей силы. Просто конец романа — это всегда очень грустно. Вот и цепляешься за последнее, стараешься внушить себе, что все еще может вернуться.

— Вот-вот, цепляешься, а потом начинается приступ. В пятьдесят девять лет, поверьте, не стоит особенно цепляться. У вас, верно, и сейчас кто-нибудь есть? А между тем семенные протоки и придаток яичка… это вот тут, наверху…

— Ай!

— Видите? Больно. Ваши семенные протоки воспалены. Я уж не говорю о простате — она твердая, как камень. Так у вас и сейчас есть женщина?

— Есть.

— Очень вредная?

— В каком смысле?

— В медицинском. Долго ли она раскачивается, любит ли растянуть удовольствие? Потому что долгий секс — это, конечно, прекрасно… Уметь сдерживаться, как пишут во всяких “руководствах” по таким вопросам, — это, может быть, очень галантно и романтично, но это лучшее средство посадить простату. До крови она вас еще не доводила?

— Что? Вы говорите фигурально?

— Фигуральность не по моей части! Я вам не про чувства толкую, а про то, что творится с простатой и кровеносными сосудами. Иногда, если половой акт затягивается, лопаются сосуды и из уретры идет кровь. У вас такое бывало?

— Нет. Никогда. Бывало, что когда… э… этот акт затягивался, у меня оставались царапины.

— Понятно, от чрезмерного трения.

— От трения, да-да… Это очень болезненно. Но что поделаешь, войны без крови не бывает!

Однако доктор юмора не понимал. Он защищал права простаты.

— Запомните, месье: когда женщина вам говорит: “Нет-нет, еще немножко!” — или: “Не спеши, подожди меня!” — не поддавайтесь!

— То есть как?

— Обороняйтесь. Извергайтесь. Наш организм

создан для того, чтобы функционировать нормально, правильно, так, как предусмотрено природой, а не для всяких там фокусов или, если угодно, соревнований в мастерстве. Не принуждайте себя, кончайте себе преспокойно, да и всё. Вы не хуже меня знаете, что есть женщины, которые так и норовят оскопить, обессилить вас. Женщины вообще ничего не смыслят в пенисах. Принимают их за автоматические инструменты, которые можно настроить и так и этак. Я уж не говорю о простате. Нет такой женщины, которая подумала бы о простате своего партнера, да что там — большинство даже не знают, зачем она нужна. В вашем возрасте пора уже остепениться.

Тут я не выдержал. Вскочил и грохнул кулаком по столу у него перед носом:

— Может, хватит надо мной издеваться, доктор! Остепениться? Это как? Спать с горничной, которая ничего такого от меня не ждет? Мужчина, черт возьми, должен быть мужчиной, а это ко многому обязывает!

Доктор сидел нахохлившись, с сигарой во рту и очками в роговой оправе на носу, похожий на старую полярную сову, и бесстрастно глядел на меня:

— Я бывший военный врач, месье. Служил

в Первой бронетанковой дивизии и в Иностранном легионе. Я собаку съел на простате. Вы пришли ко мне, потому что у вас боли, и я высказываю вам свое мнение как специалист, вот и все. Хотите — прислушивайтесь к нему, хотите — нет, дело ваше. Речь идет о вашем здоровье.

— Лучше сдохнуть!

— Сдохнуть не сдохнете, но если не откажетесь от излишеств, война закончится сама собой, поскольку бойцы выйдут из строя.

— Странная у вас манера рассматривать секс как боевые действия.

— А как же! Посмотрите, как истерзана после этого ваша простата, — и это, скажете, не бой? У вас, на ваше несчастье, сохранилась слишком высокая для вашего возраста сексуальная активность, и бедной мочеполовой системе, а она-то как раз пребывает в нормальном состоянии, приходится страдать по милости вашего либидо. Сколько в среднем длится у вас половой акт с вашей теперешней партнершей?

— Это не партнерша, а любимая женщина.

— С медицинской точки зрения это одно и то же. Так сколько же?

— Первый раз минут, наверно, десять… или пятнадцать… Да нет, не знаю я! Даже примерно

не могу сказать.

— Первый раз? То есть бывает и второй?

— Только для нее.

Доктор был ошарашен:

— Это как же так?

— Я хочу сказать, иногда у меня еще раз бывает эрекция, но кончить я уже не могу.

— Безумие! Чистое безумие! Вы роете себе могилу. Да вы хоть понимаете, каково приходится вашей простате и сосудам, когда вы целый час без передышки наяриваете, как бензопила? Гестаповские пытки! И вы, конечно, заставляете ее пососать.

— Никогда! Ни в коем случае! Я не “заставляю пососать”! Не отдаю приказов… Мать вашу за ногу, доктор, — простите, что так неизящно выражаюсь, но уж коль скоро вы военный врач, хотя и бывший… Никогда ни одной женщине я не сказал: “Пососи!” Ни-ко-гда.

— Ясно-ясно. Но если она сама предложит, чтобы помочь вам взбодриться еще разок, вы не откажетесь?

— Разумеется нет.

— И вам нет дела до того, что происходит во время этой процедуры с вашими органами, когда их возбуждают силой, а они уже истощены. Фел-

ляция, бесспорно, допустима при нормальной половой прелюдии, но не должна применяться как средство реанимации. Вы, повторяю, роете себе могилу.

— Смерти я не боюсь и буду даже рад ей, пусть только она меня застигнет во всеоружии.

— И уж верно, вам случается так и кончить, орально. Ну, а мужчину в летах оральный секс, да будет вам известно, убивает в два раза быстрее, чем обычный. Это сильнейший удар по нервной системе, от которого, как уже давно доказано, недалеко до кровоизлияния в мозг. Память у вас не пошаливает?

— В последнее время все чаще. Я много курю.

— Много курить, конечно, вредно, но еще вредней давать затягиваться собой, это я вам говорю как собрат по оружию. А в вашем возрасте потеря фосфора не так легко восстановима, как в молодые годы. Вы просто-напросто уничтожаете свои нервные клетки почем зря. У вас уже бывали конвульсивные подергивания конечностей после соития?

— Ни разу!

— Я сделаю вам инъекцию гормона под мышку, но…

Я встал:

— Не надо. Вы уже порекомендовали мне сидячие ванны и свечи сразу после… Этого хватит, чтобы успокоить боли.

Он снова мрачно глянул на меня, но вдруг почему-то смягчился:

— Что ж, вы принадлежите к старшему поколению французов, к тем, кто еще верил в настойчивость и силу воли… Я выпишу вам одно лекарство, а вы мне потом расскажете, как идут дела.

Показать этот рецепт в аптеке я так и не решился — в квартале меня все знают.

Я вытянулся в горячей ванне, закрыл глаза и улыбнулся, вспомнив о доблестном защитнике простаты от лютых женских полчищ. Может, и для меня настало время “спасать свою честь”? Сколько мужчин бросают “слишком капризную” женщину, исключительно чтобы “спасти свою честь”, иначе говоря, из трусости, потому что понимают свою несостоятельность и чувствуют, что вот-вот оскандалятся! Сколько мужчин спешат “отделаться” лишь потому, что их возможности на пределе! Они слывут страшными бабниками, на самом же деле разнообразие просто дает им последний шанс. Донжуанские списки — плод неуверенности в себе. “Она меня больше не

заводит!” — вот классическое заявление этих собирателей гаремов, так ловко сваливающих всю вину на женщину, что она и сама убеждена: все дело в ней, она недостаточно “эротичная”, недостаточно “сексуальная”, тогда как истинный виновник — дряблый червячок, которому никак не удается встрепенуться. А сколько раз при мне женщину называли фригидной лишь потому, что оргазм у нее происходит не так, как у мужчин, и что природа наградила ее совсем другой чувственностью: ее желание набирает силу постепенно, изумительно долго держится на одном уровне, а высшее наслаждение она испытывает не иначе как одновременно с мужчиной, он же часто не способен сопутствовать ей от старта до финиша и сходит с этой бесконечно длинной дистанции. Будь я озабочен своей “репутацией”, я бы расстался с Лаурой, и много лет спустя, когда старушкой она будет прясть одна, в тиши у камелька свой вечер коротая, припомнит молодость и вымолвит, мечтая: “Он и в шестьдесят лет был прекрасным любовником!”[4] Как, право же,

[4] Примечания: 4

Отсылка к хрестоматийному сонету Пьера Ронсара. В переводе В. Левика первая строфа звучит так: “Когда, старушкою, ты будешь прясть одна, / В тиши у камелька свой вечер коротая, / Мою строфу споешь и молвишь ты, мечтая: / «Ронсар меня воспел в былые времена»”.

легко создать о себе славную легенду — меняй почаще женщин да вовремя смывайся! Но мне, любовь моя, все-все на свете безразлично, все, кроме тебя. Я готов умереть в твоих объятиях. И только одного боюсь: как бы понятливость не обернулась сочувствием, а нежность и внимание ко мне не перешли критическую точку и не обернулись жалостью и материнской опекой, — во что бы тогда превратились наши отношения! “Нет-нет, не нужно, милый, ты уже приходил ко мне на той неделе, ты переутомишься!.. Береги себя, дорогой!.. Да-да, я знаю, милый, ты, конечно, можешь еще раз и даже два раза, ты же у меня такой сильный, но потом придется лежать с компрессом, помнишь, что сказал доктор?.. Не раньше субботы, любимый, в прошлый раз ты слишком разошелся… Какой же ты ненасытный!”

Надо было с самого начала поговорить с тобой откровенно. Но я боялся накликать беду раньше времени, назвав вещи своими именами. Кроме того, я знаю, как легко перенимают любящие настроения друг у друга. Опасная симметрия, когда тревога одного порождает волнение и напряжение в другом, — а дальше все идет по нарастающей, пока не лопнет окончательно. Ну

и, в конце концов, я еще неплохо держался. На год-другой вполне можно было рассчитывать.

Глава IV

Долгое время я не отдавал себе отчета, что живу на грани помешательства, и вдруг, перед самой поездкой в Венецию, понял это. Поводом для открытия послужил совершенно безобидный вопрос, который задала мне Лаура. Все началось с того, что мой немецкий адвокат приехал со своей молодой женой во Францию, намереваясь совершить "гастрономическое путешествие". Насладившись шедеврами Труагро, Бокюза и их коллег, они вернулись в Париж, и я вызвался отвезти их в Орли. Лаура поехала с нами. Мюллер, седой добродушный толстяк с неизменной сигарой во рту, болтал без умолку всю дорогу, восторгаясь запеченным филе-миньоном от Виара, уткой триссотен от Баго, каплуном в собственном соку и то и дело обмениваясь понимающим взглядом с супругой. А она, гордая новоприобретенными познаниями, добавила от себя к славному перечню бисквит джоконду с шоколадной глазурью и бесподобного зайца в черничном соусе. Чета так и светилась счастьем. На обратном пути я молча вел машину под дождем, а Лаура слушала кассету

с индейской флейтой. И вот, прислонив голову к моему плечу, она спросила:

— А что же ты, Жак, не повезешь меня в гастрономическое путешествие по Франции?

Не знаю, что вдруг на меня нашло и почему в этих невинных словах мне почудился язвительный намек. Я резко затормозил — ехавший сзади автомобиль чуть не врезался в нас, его водитель возмущенно заорал — и повернулся лицом к Лауре:

— Как это понимать? Ты что, издеваешься?

Лаура растерялась, в ужасе отпрянула и съежилась, ошеломленная бешеной злобой в моем голосе.

— Я еще не нуждаюсь в утешении сирым и бедным, — процедил я сквозь зубы, — как-нибудь обойдусь без куриных мозгов в сметане, сучьих потрохов со сморчками, яиц пашот от папаши Старпёра, чертовой бабушки по-цыгански, сырокопченого хрена по-турецки, телячьих почек с фиговым листочком, подтирки по-домашнему, желе а-ля Пипин Короткий и всякой прочей дряни.

Довести Лауру до слез — это преступление против человечества! Расстрел мирного населения на дорогах! Фашистские зверства, и Гитлер — это

я! При первой возможности я свернул с трассы и остановился где-то на рыночных задворках в Ренжи среди ящиков с цикорным салатом. Я хотел обнять Лауру, уверенный, как настоящий мужчина, что она немедленно простит меня. Не тут-то было!

— Не прикасайся ко мне! — рыдала она. — Ты задонок!

— Подонок, — тихо поправил я.

— Ты разговариваешь со мной таким тоном, каким мне жить не хочется!

Я открыл было рот, но поди распутай этот грамматический колтун.

— На, забирай! — Она рванула с шеи золотую цепочку и бросила мне.

— Но, Лаура, дорогая, это подарок твоей матери.

— Тем более! Забирай! Мне от тебя ничего не надо!

— Да это мама тебе подарила, еще когда ты была маленькая!

Она схватила цепочку, открыла окно и вышвырнула золотой комочек в лужу.

— Вот видишь, видишь, что ты наделал!

Я выскочил, под проливным дождем нашарил цепочку и попытался отдать Лауре.

— Нет! Нет, все кончено!

— Да это ведь не я, а…

— Все, все, плевать! Я больше не хочу! Все окончательно и безворотно, так и знай! Хочу домой, в Бразилию, хочу ближайшим самолетом потерпеть аварию с концами!

Она подняла стекло и, не переставая плакать, прижалась к нему лицом. Я целовал ее сквозь стекло. Промокший до нитки, я обошел машину, чтобы сесть за руль, но Лаура защелкнула дверцу изнутри. Что ж, я стал раздеваться: снял шляпу, плащ, пиджак, рубашку с галстуком. Когда же принялся расстегивать штаны, в глазах Лауры появилось что-то похожее на интерес и даже уважение. Я снял трусы, ботинки и носки и стоял под дождем в чем мать родила. Это явно задобрило и словно бы даже утешило Лауру. Она опустила стекло “ягуара” и спросила:

— Зачем ты это делаешь?

— Не знаю, — отвечал я. — Я не бразилец.

Тут она наконец улыбнулась. А потом улыбалась еще и еще, обнимая меня. Она вышла и подобрала мои одежки, но я отказался надеть их и до самого Парижа просидел за рулем нагишом. Чтоб показать ей, что еще способен на любовные безумства.

Я вылез из ванны и стал слоняться по пустому и, что ни миг, пустевшему все явственнее дому. Четыре кресла и диван в гостиной отчаянно зияют, все вещи и вещицы томятся бесхозностью. Вокруг полумертво. И самые знакомые предметы — не более чем следы мнимой жизни, которую я, может, прожил бы до конца, не подозревая, что она ненастоящая, не встреться мне ты, Лаура. Если бы не ты, я бы и не заметил, что меня нет. У нас дурацкие представления о рождении. Чтобы родиться, мало появиться на свет. Дышать, страдать, даже наслаждаться еще не значит жить, постичь же, что это значит, можно только вдвоем. Счастье вырабатывается совместными усилиями. Вот проходят секунды, проходят минуты, и этот длинный караван нагружен пряными крупицами счастья — ведь он идет к тебе.

Зазвонил телефон. Я снял трубку и услышал твой голос, в нем звучали тревожные нотки:

— Алло! Алло! Это ты?

— Лаура…

— Ты меня испугал, я подумала, это не ты.

— Мне тоже так кажется, когда тебя нет рядом.

— Что с нами будет, Жак? Что с нами будет? Счастье — это… это что-то бесчеловечное. Все время ждешь беды.

— Ну, может, как-нибудь все утрясется.

— Что утрясется, счастье?

Твой голос задрожал. Да ты, никак, плачешь.

— Мне страшно, Жак! Мне так хорошо с тобой, так хорошо, что я… ну да!.. все время жду чего-нибудь плохого.

— Не бойся и не думай, что жизнь потребует с тебя расплату за счастье. Жизнь — капризная штука, ее не поймешь, но бесспорно одно: ей все едино. Где счастье, где несчастье, она не разбирает. Идет себе, не глядя под ноги.

— Ты прочитал мое письмо?

— Какое письмо?

— Я написала тебе прощальное письмо перед отъездом в Венецию.

— Постой…

Я порылся в стопке писем на столе и нашел:

Жак, между нами все кончено. Больше я тебя не увижу. Когда ты прочтешь это письмо, меня уже не будет на свете. Прости меня. Я не могу без тебя жить.

Я снова взял трубку:

— Прочел я твое письмо. Приятно было?

— Ты себе не представляешь! Наревелась всласть. Так здорово играть в страшилки, когда

на самом деле нечего бояться. Страшно люблю, когда оказывается, что ничего ужасного не произошло.

— Что-то вроде магического заклинания?

— Ага, бразильские штучки.

— Да, но я-то каждый раз пугаюсь. А когда-нибудь, наоборот, это будет всерьез, а я не поверю. Зачем ты это делаешь, Лаура?

— Сказать по правде?

— Да.

— Просто из суеверия, это все равно что постучать по дереву. Я ведь не шутила, когда сказала, что все время боюсь. Когда я счастлива, мне всегда не по себе, как будто я в чем-то виновата.

— Религиозное воспитание.

— Возможно. Или нас и правда ждет какая-то беда и я ее предчувствую.

Я не ответил.

— Да и вообще, всем известно, что счастье — это коммунистическая пропаганда.

— Жди, я еду к тебе.

Я бросился одеваться. Руки у меня дрожали. Неужели Лаура все поняла, все знает, но из жалости ко мне не хочет говорить прямо? Нет, не может быть. Я бы заметил. Да и как, как, боже правый, могла бы она догадаться? Ведь у меня ни

разу не было осечки. Я отлично выкручивался. Не подавал и виду, что… это стоит мне такого труда. Или хоть каких-то усилий. Так бдительно следил за собой. Выдерживал стиль. Чтобы она думала, что все легко и просто. Да нет, какие могут быть сомнения и страхи — ведь я так часто слышу, как в самый острый миг она выкрикивает: “О, вот, вот, вот!” — и стонет, а это означает: есть! я выиграл! я горд собой! Крик Лауры — конец моих скитаний и возвращение домой.

До “Плазы” я дошел пешком и по лестнице взбежал на нужный этаж. Лаура открыла дверь, на ней было что-то прозрачное, в руках букет цветов — ее вечно обстреливают со всех сторон букетами, но стрелы попадают ей не в сердце, а всего лишь в вазы. Я никогда не расспрашивал Лауру об этих поклонниках, и только постоянный запах роз напоминал об их существовании.

У нее узкие глаза, какие в Бразилии называют “азиатскими листочками”, лоб обрамляют собранные в узел пышные темные волосы, а в очертании губ столько нежности и беззащитности, что я никогда не знаю: целовать их или только ласкать взглядом. Кто-то из знакомых сказал о нас с Лаурой: “Не могу понять, что она находит в нем, а он — в ней”. Но это как раз и до-

казывает, что два человека действительно нашли друг друга. Она кладет голову мне на плечо, и я с удивлением понимаю: вот каково его предназначение! А шея — сколько в ней природной грации, которую не передать кочующим из книги в книгу лебединым эпитетом! А талия такая тонкая, что я не верю собственным ладоням, зато мгновение спустя они скользят по пышным бедрам. Когда же падает волна распущенных волос, я сбиваюсь с дыхания, точно от быстрого бега.

Во все века скульпторы ваяли статуи влюбленных: сегодня это выщербленные, обглоданные временем камни, свидетельства упрямых человеческих потуг увековечить счастливое мгновение и их тщетности, ибо бессмертно лишь мимолетное.

Ты что-то быстро написала на листке бумаги и протянула мне: “Там, в темноте, — волшебный город или я не знаю что… чего не передать словами”.

Замри. Не двигайся. Останемся вот так навсегда. Дай мне дышать твоим дыханием. Под моей рукой мелкими стежками прошивает вечность твой пульс, отмеряя ритм застывшего на лету времени счастья. Да, где-то во внешнем мире существуют голод и смерть, так говорит нам голос

сострадания. Он что-то бубнит у меня в груди, но глохнет в сладкой истоме утоленной жажды. Когда-то отправившийся в одиночку в дальнее плавание друг прислал мне письмо с другого конца света, в котором расписывал неземной покой, доступный, говорил он, лишь тому, кто очутился один на один с океанским простором, — я вспомнил об этом и еще крепче благодарно сжал тебя в объятиях. Ведь мне, чтоб испытать такое, совсем не нужно пускаться в открытое море под парусом. Я почти не дышу — только впиваю легкое дыхание твоих губ, уснувших, прильнув к моим. Ночь накрывает нас своим шатром, дрема гасит сознание. Ты любишь спать в одной и той же, успевшей стать привычной позе, а если я пошевельнусь, попробую убрать свою руку, ты что-то сонно шепчешь, ловишь меня мелкими поцелуями и возвращаешь все на место. Лаура…

У меня выступают слезы, но это только потому, что я подумал о Рексе, моем старом псе, как он вильнул мне хвостом перед смертью.

Глава V

Свежий взгляд ребенка даже истоптанным тротуарам возвращает молодость. С Лаурой я заново пережил многие радости, которые когда-то дарил мне мой маленький сын. Мы катались на лодке в Булонском лесу, поднимались на Эйфелеву башню, катались на аттракционах на Тронной ярмарке[5], это было открытие Парижа. Я водил Лауру в рестораны, где столько раз обедал с деловыми партнерами, что уже и стены опротивели, теперь же, вот чудо, мне тут очень нравилось. Я шел по залу вслед за Лаурой и ловил на себе взгляды посетителей, они изучали мою физиономию, природный крой которой в сочетании со следами лихих военных лет производит сильное впечатление, только легионерской фуражки не хватает, — прикидывая, не слабо ли мне. До сих пор, насколько мне известно, я благополучно проходил эту проверку, которой неминуемо подвергается в роскошных ресторанах немолодой

[5] Примечания: 5

Традиционная *Тронная ярмарка* проходит на окраине Парижа в апреле — мае. Название происходит от Тронной площади (так в старину называлась площадь Насьон), где эта ярмарка устраивалась до 1965 г.

мужчина, явившийся в сопровождении юной женщины. Я угадывал, о чем шепчутся за столиками: “Сколько же это лет Жаку Ренье? — Трудно сказать… — Сыну его уже за тридцать… Он воевал вместе с Шабаном[6]… — Совсем не пьет… — Наверно, здорово следит за собой…” А я вовсе за собой не слежу. У меня плоское, изрезанное шрамами лицо, светлые, коротко подстриженные, с обильной сединой волосы, мощные челюсти, и вообще я сложения неслабого. Одежду ношу лет по двадцать и очень ее берегу — терпеть не могу обновки. Со временем видимость срастается с сутью, так что мой фирменный облик почти не меняется вот уже лет десять. Я сжился с ним и им проникся.

Лаура выныривала из простынь и подушек, как из облака пуха, и словно искала рукой, за что схватиться. Когда с губ ее срывался крик, она отворачивалась и кусала руку, чтобы не дать ему взлететь к небесам. Однажды я спросил, зачем она так обделяет небо.

— Я воспитывалась в монастыре, — ответила

---

[6] Примечания: 6

Имеется в виду Жак Шабан-Дельмас (1915–2000), французский политический деятель, соратник де Голля, участник движения Сопротивления. Свой подпольный псевдоним *Шабан* он впоследствии добавил к фамилии.

она, и я удивился: неужели бразильские монахини дают такой диковинный обет молчания.

— Сегодня мне звонила из Рио мама, и я ей рассказала про тебя. Она все знает.

— Правильно, маме и надо рассказывать все, если она живет на другом конце света. И как мама отнеслась к этой новости?

— Очень хорошо. Сказала, если я счастлива, то это не важно.

— Никак не привыкну к бразильской манере выражаться. Что именно не важно — счастье?

Прежде чем ответить, она долго смотрела на меня — такая трансляция хорошего настроения.

— Не бойся, Жак.

— Что это значит? — вскинулся я. — Чего я, по-твоему, боюсь?

— Меня. Ты не привык, чтобы тебя любили с ураганной силой, и ты, я понимаю, дорожишь своей свободой.

— Глупости! Не нужно мне никакой свободы, когда я с тобой! Зачем она мне? Да забирай, пожалуйста. Дарю! И делай с ней что хочешь — хоть разорви на папильотки. На свете нет свободы, Лаура. Мы все рабы своего естества. Та самая природа, которую все наперебой защищают, требует от нас подчинения. Нас призывают спасать

океаны, деревья и воздух, а человек живет под постоянным гнетом и оскудевает с каждым днем. Хоть бы умереть, пока это не случилось.

— Что?

Я опомнился. Сел на кровать, взял твою руку, прижал ее к своей щеке и закрыл глаза. Руки у тебя совсем детские. Может, мне надо было родить дочку?

— Пока что? — настаиваешь ты.

— Пока не загрязнились все океаны, дорогая, и не выцвела жизнь. Пока не стали серыми все розы.

— А что, серая роза — это, наверно, красиво.

Будь у меня дочка, я, может, знал бы, как выпутаться.

— Лаура!..

Она обняла меня, и ночь вдруг преобразилась, как будто существует другая, особая темнота для утешения слишком молодых сердец в слишком старых телах. Я снова закрыл глаза, чтоб ты погладила мне веки кончиками пальцев. В горле застыли слезы — им, видно, тоже не хватило сил подняться выше. Ах, Лаура, вот уж лет сорок пять, как я мечтаю жениться на своей первой любви. Деревенская церковь и мэрия с мэром, дамы-господа, обручальные кольца, застенчивое “да”

невесты — боже правый, как же я хочу переродиться! Вот увидишь, я буду неловким, все будет в первый раз, где-нибудь в Бретани, и пусть день и ночь льет дождь, так что на улицу не выйти, и пусть будет весна; весна — это твоя пора, весна, утраченная родина, по которой тоскуют осенние ночи. Я боролся со сном, чтобы продлить полудрему, когда почти что ничего не чувствуешь и потому почти что счастлив.

Не знаю, спал я или нет. Глухая боль все нарастала и наконец полоснула, как ножом. Лаура по-прежнему обнимала меня и дышала у самых моих губ. Я тихонько отвел ее руку, а она прошептала мое имя, как будто это все еще был я… Шулер встал среди ночи — пошел готовить крапленые карты. Я наполнил биде ледяной водой и принял сидячую ванну. Трийак не соврал — стало легче. Нет ничего вреднее для простаты и семенных протоков, чем затяжная эрекция без эякуляции и опорожнения желез. Кровь распирает сосуды. А у меня почти никогда не бывает эякуляции во второй раз, да и в первый далеко не всегда получается. Зато сохранять твердость я могу сколько угодно. Словом, идеальный любовник. “Вот-вот-вот!” Крепкий мужик под шестьдесят, который не может кончить, — с таким уж точно

получишь удовольствие. “Ах, этот Жак Ренье! Он еще ого-го по женской части”. Сидеть в биде, все время доливая холодную воду, пришлось довольно долго. Но постепенно режущая боль утихла. Осталась только каменная тяжесть у основания члена. Я не смотрел на часы, но Лауре на этот раз понадобилось больше времени, минут, наверно, двадцать. Если б я мог разрядиться, не было бы такого напряжения. Нажимаю пальцем на уретру — крови ни капельки. Но кожа здорово раздражена от чрезмерного трения. Опять началось! Чудовищно болит в паху и где-то выше, слева — весь механизм изрядно пострадал. Железа работает уже не так активно, простатической жидкости выделяется все меньше, и смазки не хватает. Я тружусь всухую. Пожалуй, зря я выкинул рецепт, который дал Трийяк. Завтра утром скажу лакею, чтобы вытащил его из корзинки и сходил в аптеку. Надо быть в форме любой ценой.

Я встал, вытерся и даже попытался рассмеяться.

Глава VI

— Я хотел с тобой посоветоваться… — сказал я Лауре и улыбнулся. Должно быть, у меня в какой-нибудь извилине души работает заводик, исправно поставляющий иронические улыбки, а щепотка смятения или страха, горечи от поражения или бессилия доводит эту продукцию до совершенства. Может статься, мой лакей Морис, беспощадно воюющий с пылью, однажды подберет оброненную улыбку, осторожно смахнет с нее пыль и положит на полочку в ванной, рядом с другими туалетными принадлежностями.

Лаура сидела у окна в голубом пеньюаре, закинув голые ноги на подлокотник кресла, и перечитывала “Сто лет одиночества” Маркеса. Она печально посмотрела на меня:

— Теперь я знаю, откуда берутся всякие народные легенды. Их порождает нищета и скука. У тех, кто придумывал мифы, не было места в этой жизни, а сил — хоть отбавляй. И им не осталось ничего другого, как уйти в воображаемый мир… Ты разговаривал с сыном?

— Да. Мы вчера пообедали вместе.

Жан-Пьер сидел, уставясь в рюмку с дайкири. Белоснежные манжеты, синий блейзер, галстук “ланвен”. Ему только тридцать два года, но так безукоризненно он выглядит уже давно, с тех пор, как поступил в Высшую школу управления. У него солидные роговые очки, прилизанные волосы, черты лица резковаты, но их прекрасно сглаживает бесстрастное выражение; не откажешь ему и в любезности, однако же количество и качество ее, как я подозреваю, он тщательно дозирует в зависимости от того, с кем беседует и насколько важен результат разговора. Если так дело пойдет, ему прямая дорога в премьер-министры. Он наделен феноменальным психологическим чутьем и умеет быстро выбрать тактику, учитывая личные качества партнеров. “Я подписал контракт с вашей фирмой, потому что мне нравится работать с вашим сыном, — сказал мне однажды Бонне. — Он выгодно отличается от своих однокашников, которые уверены, что им уже нечему учиться, и на ходу подметки режут”. Не понял, бедняга, что это и есть манера Жан-Пьера — на ходу подметки резать. Он ловко умеет сыграть на своеобразной тяге, которую мужчины под шестьдесят нередко испытывают к молодым людям определенного типа и которая объяс-

няется тем, что они подсознательно выбирают себе “заместителя”, то есть образец того, кем они могли бы стать, будь им дано прожить жизнь сначала. Мне не раз случалось подмечать странное выражение, мечтательное, дружелюбное и в то же время враждебное, с каким пожилые начальники смотрели на сотрудников лет на тридцать моложе себя, которым улыбается жизнь, — они хотели бы подзарядиться. В такие минуты симпатия причудливо сплетается с неприязнью и завистью, а последствия зависят от непредсказуемых душевных порывов: может, молодому человеку окажут поддержку, а может, раздавят его, как козявку. Мне манера Жан-Пьера подать себя и понравиться собеседнику была давно знакома: с 1950 по 1955 год я работал в крупном рекламном агентстве в Нью-Йорке. В те времена техника продажи строилась не на качестве товара, а на умении получше его представить, чтобы соблазнить клиента. О качестве стали думать где-то году в шестьдесят третьем, после того, как Ральф Нейдер в одиночку сражался против “Дженерал моторс” и победил, и с появлением первых лиг защиты прав потребителей. Пока же все держалось на привлекательности и обольстительности, главным капиталом становились

молодость и красивая внешность, традиционные же ценности — опыт, зрелость, солидность и надежность — все больше оттеснялись. В результате в Соединенных Штатах, а потом, как обычно с десятилетним запозданием, и в Европе стареющие мужчины и женщины стали чувствовать себя ненужными, непригодными и ничего не стоящими, поскольку с возрастом их рыночная цена катастрофически падала.

Лаура глянула на меня поверх книжки:

— Ты часто думаешь о сыне, Жак?

— Все чаще. Всеобщая иллюзия — видеть в детях свое продолжение. Как будто мы не исчезнем совсем.

Лицом Жан-Пьер похож на ту женщину, с которой я тридцать один год тому назад вступил в брак, а пятнадцать лет назад разошелся. Не очень-то приятно каждый раз, глядя сыну в глаза, натыкаться на осколки прошлого. Он всегда был со мной предельно почтительным, но между нами стоит что-то такое, что трудно выразить словами: мне кажется, нас разделяет именно то, в чем мы как настоящие отец и сын похожи друг на друга, — разделяет, потому что не нравится ни одному, ни другому; попытайся мы сблизиться, пойдут взаимные признания, попреки и обиды;

что делать, сказывается крестьянская закваска, повадки, въевшиеся в плоть и кровь за века кабального труда, сначала на поле феодала, потом на своем собственном. Как наши предки пеклись о посеве и урожае, так мы — о вложениях и доходах. Когда-то я лелеял надежду, что Жан-Пьер посвятит себя искусству — как же! Взять реванш у судьбы, подменив себя сыном, — такого не бывает. Он очень редко улыбается — видно, насмотрелся на меня, причем не без сочувствия. Связи с женщинами у него, в отличие от меня, обычно бывают быстротечными и краткосрочными. По-настоящему, насколько мне известно, он любил дважды. Первый раз — итальянку, на которой, как он сказал, он “не женился, помня о тебе”. Его мать, когда я передал ей эти слова, сочла их совершенно загадочными. Я же понял их так, что бросить молодую женщину после короткого романа не так подло, как сорокалетнюю после двадцати лет совместной жизни. Второй страстью моего сына, знаю понаслышке, была единственная дочь крупнейшего промышленного воротилы северных областей страны, но от легкого пути к богатству он предпочел отказаться. Меня нисколько не удивило, когда после выборов 1974 года он отверг предложение войти

в правительственный аппарат, — французской политикой он всегда брезговал, как будто втайне взращивал честолюбивое намерение изменить мир. Впрочем, скорее всего, я приписываю ему свои собственные юношеские мечты. “Изменить мир”… Чтобы затевать такое грандиозное дело всерьез, надо отказаться от всяких личных амбиций, потому что прежде всего оно требует полной самоотверженности.

— Как поживает Лаура?

— Прекрасно. Привет тебе от нее. Она была в Венеции в первый раз, так что можешь себе представить…

К нам подошел метрдотель и стоял, всем своим видом выражая скромность, но также и настойчивость профессионала: он сожалеет, что приходится прервать нашу беседу, однако же дает понять, что не может терять драгоценные минуты. Я надел очки и принялся изучать меню. Порция спаржи стоила тут четыреста франков, а дынные шарики в портвейне — три тысячи.

— Дайте мне время привыкнуть к ценам, — сказал я метрдотелю.

Он поклонился, расшаркался и отошел. Я посмотрел по сторонам — посетители явно шиковали не за свой счет, а за счет средств на

представительские расходы.

— Прости, Жан-Пьер, что притащил тебя сюда. Не думал, что это будет так разорительно.

— Ты удивишься, но я иной раз сам, один, заглядываю сюда пообедать.

— На кой черт?

— Ради закалки. Нужно же тренироваться. В таких местах мне вообще-то не по себе, вот и стараюсь пообвыкнуть. Чтобы на переговорах с клиентами чувствовать себя непринужденно.

Сын притворялся, будто слыхом не слыхивал про светскую игру, хотя это как раз и входит в ее правила. Уж я-то знаю: гораздо легче быть тем, что ты есть, и заниматься тем, чем занимаешься, если сделаешь вид, что не имеешь отношения к тому, что ты есть и чем занимаешься.

— Итак, Жан-Пьер, все, можно считать, решено.

— С Кляйндинстом?

— Предложение вполне достойное.

— Ты хочешь сказать, единственное.

Он изящно держал свою рюмку и помешивал в ней коктейль. Пальцы тонкие, длинные, словно созданные, чтобы шелестеть подшивками бумаг и поднимать бокалы за красиво сервированными столами. А у меня еще лапы из прошлого — ко-

рявые, грубые, узловатые, приспособленные к топору и плугу.

— Я все обдумал. Дело не в каких-то моих частных соображениях, как считает мой брат — он тебе, наверно, говорил, — не в моих обстоятельствах и вообще не во мне. Хотя, не спорю, мне хотелось бы иметь больше времени на… личную жизнь.

— Это вполне понятно.

— Но я смотрю правде в глаза: мы в безвыходном положении. Фуркад[7] делает ставку на крупный капитал, то есть поощряет концентрацию предприятий, развитие промышленных гигантов, чтобы выдержать конкуренцию в мировых масштабах. Тем самым, вольно или невольно, он готовит почву для национализации: когда могущество немногих станет чрезмерным, поборники справедливости потребуют передать собственность народу. Знаешь анекдот? Едет американец на “кадиллаке”, обгоняет другого американца, и тот думает: “Когда-нибудь у меня тоже будет «кадиллак»”. А когда француза обгоняет другой француз на роскошной тачке, он думает: “Ишь, мерзавец, — нет чтобы ездить, как

---

[7] Примечания: 7

Жан-Пьер *Фуркад* — министр экономики Франции в 1974–1976 гг.

все люди, на «ситроене»!” Да, в последние пять лет наш объем продаж ежегодно увеличивался на двадцать процентов, но для этого понадобилось обновить оборудование, и тут мы попали в полную зависимость от банков. Ты все это знаешь лучше меня. Я не гигант и не могу пугать правительство тридцатью тысячами безработных. Мы обречены. Можно, конечно, тянуть, бодриться, делать вид, что все хорошо… допустим, еще год, ну полтора. Но я предпочитаю уйти с поля боя, не дожидаясь, пока меня укокошат и вытащат за ноги. Надо смириться с неизбежным.

Я встал, распахнул окно, впустив майский воздух, и вернулся к Лауре. Наклонился над ней, зарылся в ее волосы, приник губами к шее, закрыл глаза и стал впивать эту весну.

— Ничего не попишешь. Я в последнее время все чаще вспоминаю слова Валери: “Начинается время конца”.

Жан-Пьер упорно смотрел в рюмку. Я узнал сидящих за соседним столиком Сентье из *СЕКА* и Мириака — а я-то думал, он разорился вместе с *IOS* Корнфелда.

— Это не просто кризис. Изношены все наши системы. И причина не в экономике — мы не

успеваем за техническим прогрессом. Экономика трещит по всем швам, поскольку ее техническая основа постоянно устаревает из-за стремительного развития самой техники. Мир умирает в родовых потугах. Наше общество истощило себя, воплощая мечты прошлого. Когда американцы высадились на Луну, все кричали, что наступила новая эра. Ничего подобного — это кончилась предыдущая. Мы выбивались из сил, чтобы осуществить то, что придумал Жюль Верн в девятнадцатом веке. Двадцатый же век не подготовил следующий, а выдохся, работая на девятнадцатый. Если вся цивилизация держится на нефти — понимаешь ты, что это значит? У нас нет своих энергетических ресурсов. Это полное, полное истощение.

Лаура шевельнулась, теперь я вижу ее профиль в пене волос. Она снова обняла меня за плечи. Какое счастье — эта безмятежная, не нарушаемая никаким движением, разлитая в застывшем времени ласка. Вот они, самые блаженные, самые спокойные минуты.

— Причем я имею в виду не только промышленную энергетику…

Я вдруг поймал знакомое выражение на лице Жан-Пьера: он опустил глаза, стараясь не смот-

реть на меня.

— Ты что-то хочешь сказать? — спросил я.

— Нет-нет, ничего.

— Не бойся, я не обижусь.

— Ну, ладно, могу же и я пошутить… Апокалипсис обрушит биржу, это точно. Но запасаться золотом, чтобы спастись от конца света… Прости, но если человек считает, что наше общество и вся цивилизация обречены, и единственный вывод, который он из этого делает, — это решение продать свои акции… Это как-то смешно.

— Спасибо. А что, по-твоему, я должен делать? Уверовать? Во что? В новый источник энергии? В маоистскую революцию? Или в отче-наш-иже-еси-на-небесех? Все наши нынешние достижения, в политике и вообще, — сплошная симуляция. Игрушки из секс-шопа.

В Париже я никогда не захожу в такие лавки — латинская гордость не дает признать свое поражение, и боюсь нарваться на понимающий взгляд продавщицы, а в Нью-Йорке однажды заглянул из любопытства. Американцы не допускают и мысли о неразрешимых проблемах. Эта нация просто не способна смириться с тем, что вокруг и внутри них существует что-то, что нельзя разрешить. Неудачи и безысходные си-

туации, которые представители других народов принимают как часть человеческого удела, американцев гонят к психоаналитикам или толкают на неистовые поиски заменителей утраченных сил, денег и мировых рекордов. Бессилие Америки стало бы огромной опасностью для всего мира. Искусственные фаллосы изобрели не вчера, но только в Америке их применяют все шире и шире, как атомную энергию в мирных целях. Американец входит в секс-шоп как в магазин сантехники и с достоинством человека, который приобретает легальные средства самообороны. Америка еще не привыкла к поражениям и отказывается признавать, что есть черта, за которой кончаются наши возможности. В том нью-йоркском магазине толпились мужчины разного возраста, в том числе несколько совсем молодых — видимо, преждевременная эякуляция. Там был специальный отдел мазей, уменьшающих чувствительность и предотвращающих такую неприятность. Целую стену занимали искусственные фаллосы: телесного цвета, черные и даже красные и зеленые. Модели попроще и товар люкс — выбирай по карману и положению в обществе. Некоторые были снабжены системой креплений, их примеряли в кабинках. При мне

продавщица объясняла заинтересовавшемуся покупателю, что есть крепления, которые позволяют носить фаллос круглые сутки не снимая. Такие штуковины стояли отдельно и назывались *always ready* — "всегда готов". Продавщица держала фаллос в руке и расхваливала его гибкость. Это очень прочная модель, говорила она, и в то же время очень эластичная. При нажатии на кнопку фаллос выделял жидкость, имитирующую сперму, которая тоже имелась в продаже. Ее можно с помощью электронагревателя на маленьком аккумуляторе довести до температуры тела. В лавке был также широкий выбор искусственных яичек. А в дамском отделе — вибраторы на любой вкус. Покупатель, выбиравший фаллос, разглядывал и ощупывал его, будто прикидывал, соответствует ли он его воспоминаниям. В конце концов, подумал я, даже гомеровские герои не рождались с мечом на боку и, чтобы совершать свои подвиги, нуждались в экипировке.

— Нам нужно полное обновление, преображение, пополнение ресурсов. Посмотри вокруг — нигде ничего подлинного, кругом сплошные подделки, внешний блеск и ничего больше. Снаружи все красиво — спасибо упаковщикам и бальзамировщикам, но что внутри? Страх перед

завтрашним днем, одряхление, искусственная стимуляция и подмена. Видит бог, не хотел бы я быть сейчас двадцатилетним!

Я сам был так ошарашен тем, до чего договорился, что споткнулся и замолк. Спасло привычное средство — смех.

— В общем, сынок, ты, наверно, понял, что я уже не так резво взбегаю по лестницам, задыхаюсь на теннисном корте и… все такое прочее.

Жан-Пьер вертел рюмку, разбалтывая остатки дайкири.

— Тебе, конечно, надоело слушать мои стоны.

— Что ты, ничуть!

— Но я привык находить практическое решение любых проблем, и для меня… — Я раздраженно обернулся к метрдотелю, который все стоял рядом и слушал: — Вы хотите мне что-то предложить?

Он наклонил голову и вкрадчиво сказал:

— Если вы любите рыбные блюда, советую гребешки по-эстремадурски или камбалу бонифас с оливками.

— Принесите яичницу.

— Две, — добавил Жан-Пьер. — Я прекрасно понимаю, что заставляет тебя принять предложение Кляйндинста, но что заставляет его это

предложение сделать, понять не могу. Зачем ему, с его масштабом, наша фирма?

— Может, у него неукротимый аппетит. Посмотри на “Париба”[8]. Силачам требуется поглощать белки в огромных количествах. Кляйндинст сможет проникнуть во Францию, а потом начнет расширяться. Такие гиганты жрут все подряд, а когда впереди больше нечем поживиться, они начинают искать добычу по сторонам. Это называется диверсификация.

Я виделся с Кляйндинстом за три недели до того. Сначала он предложил мне приехать во Франкфурт, но я отказался — это выглядело так, как будто он меня вызывает к себе. Договорились встретиться на нейтральной территории, в цюрихской гостинице “Бор-о-Лак”. С ним было два адвоката, секретарь и эксперт-бухгалтер, который, похоже, знал про меня все, вплоть до того, во что мне обошелся мой костюм. Кляйндинст отличается типично немецким лоском и пунктуальностью — качествами, о которых не знаешь, что думать: то ли это признаки душевной силы и стойкости, то ли, наоборот, маскировка внутрен-

[8] Примечания: 8

“*Париба*” — французский банк, слившийся в 2000 г. с Национальным парижским банком.

него разброда. Пока мы беседовали, на кончике его сигары набралось добрых два сантиметра пепла, и, как мне показалось, все его внимание было сосредоточено на том, чтобы не дать упасть этой пепельной нашлепке. Начали мы с невинной легкой разминки. Я заметил, что Кляйндинст посматривает на меня с любопытством, вполне доброжелательно и в то же время испытующе.

— Мне кажется, мы с вами уже встречались.

— Что-то не припомню.

— Вы ведь участвовали в боях за Париж? — “В боях”, а не “в освобождении” — именно так он сказал. Мы разговаривали по-английски. — Я прочитал это в вашем досье.

In your file…

— Да.

Он задорно блеснул очками:

— При сдаче города я находился в штабе генерала фон Шольтица.

— Я тоже был там. С генералами Роль-Танги, Шабан-Дельмасом и другими.

— Так я и думал. Хотя не могу сказать, что узнал вас. Прошло столько лет, все так изменилось.

— Мы с вами разминулись, — сказал я.

Кляйндинст захохотал, и мы перешли к существу дела. Нужно было с самого начала до-

говориться о некоторых вещах устно, чтобы не требовалось запрашивать согласия Министерства финансов на продажу. А главное, чтобы минимизировать налоги. Предполагалось, что официально немцы покупают у меня восемьдесят процентов акций моего холдинга и каждого из трех филиалов. Мне предоставляется полис страхования жизни, оплаченный совместно этими тремя филиалами. Семьдесят пять процентов реальной цены сделки выплачиваются мне конфиденциально в виде акций на предъявителя, торгующихся на немецкой бирже, и будут переданы моему доверенному лицу в Швейцарии. Такие операции были в порядке вещей. Немцы в таком случае избавлялись от необходимости платить 17,5 % от общей суммы в пользу французской казны, и я тоже почти полностью освобождался от налогов. Да еще мне причиталось восемь тысяч акций компании Кляйндинста СОПАР.

— Есть еще один очень важный момент, месье Ренье, — сказал он, не спуская глаз с кончика сигары. — В основном из-за него я и настаивал на личной встрече с вами. Я бы очень хотел, чтобы вы продолжали руководить деятельностью французского отделения в качестве его директора.

Он предлагал мне стать его служащим.

Я посмотрел ему в лицо. Все та же серьезность и благожелательность. Ни капли иронии. У кого-то из нас слишком хорошая память.

— Боюсь, это невозможно.

— Очень жаль, месье Ренье. Очень, очень жаль. Мы заметили, что когда во главе мультинациональных предприятий, работающих во Франции, стоят немецкие бизнесмены, они сталкиваются с некоторым… предубеждением.

— Вы меня удивляете. Я думал, все давно в прошлом.

— Однако это факт.

— Я высоко ценю ваше предложение, но принять его не могу… по многим причинам.

— И все же, месье Ренье, я позволю себе настаивать. Не скрою, что возможность сотрудничества с вами — одно из решающих условий сделки.

— Весьма сожалею.

— Подумайте.

Зал был погружен в полумрак. Я опустил голову и прикрыл глаза. Бессонница и усталость обостряли память, но воспоминания путались в голове. Кляйндинст смотрел на меня как добрый приятель, танки Леклерка — призраки победных дней — проезжали перед глазами, лицо сына выражало внимание и некоторую отстраненность.

Вдруг совсем рядом полыхнул соус для блинчиков креп-сюзетт.

Сомелье навис над нами чуть ли не угрожающе.

— Принесите “эвьян”, — сказал я ему, и он удалился. “Бедная Франция!” — говорил весь его вид.

— Когда-нибудь, Жан-Пьер, появятся роскошные дома эвтаназии, с богатым ассортиментом способов приятной смерти, так вот, у тамошних клиентов будут такие же постные рожи, как у здешних. О чем я говорил?

— О том, что ты привык находить практическое решение любых проблем…

Руки Лауры легли мне на плечи.

— Иди спать. Не изводи себя грустными мыслями.

— Это предзакатная тревога.

— Почему предзакатная? Сейчас четыре часа утра.

— Лаура…

Нет, я не мог ей сказать. Наверное, я намертво укоренен в прошлом, в том времени, когда мужчины не умели по-братски относиться к женщинам.

— Понимаешь, дела… Положение фирмы без-

надежно. Остается только выбирать: передать ее в руки немца или американца. Типично французская ситуация! Приходится уступать свою территорию сильнейшему, а это тяжело… даже в животном мире старому самцу мучительно склонять голову перед молодым. Это унижает мужское достоинство.

— А я? Я тоже часть твоей территории?

— Нет. Ты мое будущее.

Глава VII

В восемь утра я спустился в ресторан и развернул газету. Через полчаса, когда я читал об успехах нашей сборной по регби — лет тридцать пять тому назад я сам был одним из лучших ее игроков, — в холле появилась знакомая фигура. Мой брат Жерар, со шляпой в руке, твердым шагом направился прямо ко мне. Глядя на него, подумаешь: вот человек, который точно знает, чего хочет и как этого добиться, — тридцать лет ошибок, тщетных потуг и провалов ничуть его не изменили. Жерар — мой старший брат (младший, Антуан, погиб в девятнадцать лет, его расстреляли в Мон-Валерьене[9]), и его энергичный, решительный вид был мне очень полезен на деловых встречах до тех пор, пока он не раскрывал рта. Таких, как Жерар, можно сколько угодно увидеть на дорогах Франции: в шляпе, за баранкой “ситроена”, всегда в одиночку. Крепко скроенный, кряжистый, широкоплечий, в ла-

[9] Примечания: 9

Мон-Валерьен — старинная крепость под Парижем, где в годы Второй мировой войны оккупанты расстреливали участников Сопротивления и заложников.

ду с землей и с бутылочкой красного — такому сам бог велел заниматься, как предки, сельским хозяйством. Но он с завистью смотрел на мое “продвижение по социальной лестнице”, и в пятидесятые годы, когда начался экономический подъем и строительный бизнес стал приносить сто процентов чистой прибыли, очертя голову ринулся в сектор дешевого жилья и за пять лет сколотил миллиардное состояние. Но в 1968 году, когда Жерару уже светил орден Почетного легиона, он вдруг погорел: его обвинили в том, что он давал взятки и подписывал фальшивые счета; он выплатил триста миллионов штрафа за сокрытие доходов и уклонение от налогов и получил полгода условно. Это страшно уязвило его и привело к инфаркту. Ведь он гордился безупречной репутацией и не мог стерпеть такого позора. Мой брат — действительно человек глубоко порядочный, никакого парадокса тут нет, просто он заразился бациллой легкой наживы, ввязался в крупные дела, требовавшие все новых кредитов, а внушительные суммы, которыми ему приходилось ворочать, сами по себе давали иллюзию надежности. То было время бурного роста, когда процентов тридцать пройдох, начинавших с откровенного воровства, превращались в честных

бизнесменов, если достигали успеха, скандалы же вспыхивали только в случае неудачи. Дела брата шли в гору так стремительно, что он возомнил себя гениальным дельцом, тогда как на самом деле его просто подхватила самая высокая во всей истории капитализма волна изобилия и быстрого обогащения. Я не хочу сказать, что Жерар — бездарь, просто он не умеет выкручиваться и ловко жонглировать законами, отчетами, векселями и банковскими кредитами, постоянно рискуя пасть жертвой чьего-то финансового краха. Он презрел атавистические крестьянские заветы, вроде “тише едешь — дальше будешь”, “делай все своими руками”, “терпение и труд все перетрут”, и окунулся в среду, где деньги гребут лопатой. Ставя свою подпись под чем ни попадя, он позабыл, в чем ее смысл, и поддался гипнозу больших цифр. После той истории я взял его в свою фирму, во-первых, из родственных чувств, а во-вторых, чтобы не зарываться, постоянно имея такой пример перед глазами. Он не делал ничего и вмешивался во все. Мой сын и сотрудники притворялись, что считаются с ним. Он получал оклад плюс проценты с прибыли, а надо сказать, что расходов на содержание собственности у него было побольше, чем у меня, ведь такие дорогие

цацки, как имение на юге страны, несколько автомобилей и катер фирмы “Крис Крафт”, требуют постоянного ухода и бесконечных трат на то и на се. Жерар подошел ко мне вплотную, остановился и, не вынимая руки из кармана, заговорил строгим тоном старшего брата:

— Жан-Пьер говорит, ты ликвидируешь фирму?

— Продаю.

— Немцам?

— Да, Кляйндинсту. Чашечку кофе?

Жерар сел.

— Спасибо, нет. Ты выбрал самое неподходящее время.

— Да. Французы голосовали за Жискар д’Эстена, а оказалось, что выбрали двойника Миттерана. Надо было продавать дело года полтора назад. Голландцы предлагали мне три миллиарда и еще один на швейцарский счет.

— Ты уже встречался с Кляйндинстом?

— Только один раз.

Мне не хотелось расстраивать брата. Вот уже много лет я стараюсь щадить его хронически больное после краха самолюбие. Меня умиляет и в то же время раздражает манера Жерара каждым движением демонстрировать окружающим

свою решительность и энергичность, которые на деле ни в чем не проявляются, — он просто раздувается, как индюк, что рано или поздно приведет к гипертонии.

— По требованию немцев мы урезали кредиты, а теперь, когда начался обвал, они рады стараться прибрать все к рукам.

— Не совсем так. Что касается сокращения кредитов, это была необходимая мера. Все развивающиеся предприятия работали только на выплату процентов банкам…

Жерар покрутил в руках шляпу.

— А мне, разумеется, никто ничего не говорит, как будто я пустое место. Ты затеял чудовищно дорогую модернизацию, израсходовал кучу денег, набрал кредитов и не сумел предвидеть, что древесина подскочит в цене. И вот бумага опять подорожала на сорок процентов. Если бы ты меня послушал, завел свои собственные склады и запасся впрок…

— Да разве ты мне об этом говорил?

— Конечно, только ты все пропустил мимо ушей. Тебе пришлось брать новые займы и выкупать векселя аж под двадцать процентов, а теперь, когда вот-вот дела по-настоящему завертятся, ты все бросаешь?

— Я ничего не бросаю. Мне предложили выгодные условия, и я продаю. Только и всего.

— А я тебе говорю, сейчас не время. Все должно наладиться.

— У меня есть свои причины.

— Знаю я твои причины! — Жерар вскочил. — И весь Париж их знает.

Я отвечал спокойно, как когда-то, когда мне было четырнадцать, а ему восемнадцать:

— Хватит, Жерар. Смени тон.

— Я просто пытаюсь помешать тебе превратить себя в развалину!

— Что это значит?

Мне стало забавно. В словах “пытаюсь помешать тебе превратить себя в развалину” было что-то лестное. И даже обнадеживающее. Ведь они, если вдуматься, означали, что жизни за шестьдесят лет упорных усилий превратить меня в развалину не удалось и она нуждается в моей помощи.

— Послушай меня, Жак. Никто другой тебе этого не скажет…

Я поднял руку:

— Можешь не трудиться. Я сам себе это твержу. Каждое утро пою про это в ванной за бритьем.

Брат снова сел.

— Конечно, я на четыре года старше тебя. Но уже лет шесть, как почти ни на что не гожусь.

Я промолчал — известия о кончине внушают мне почтительную скорбь.

— Да, у меня тяжелый диабет… Но все равно от этого никому не уйти!

— Я буду держать тебя в курсе.

— Ну-ну, все шутишь! Обычная твоя манера увиливать от проблем. Ты сам себя обманываешь там, где обман невозможен. Девчонка лет на… тридцать пять… тебя моложе, так? Подумай хорошенько. Как-никак, я твой брат.

Я рассмеялся:

— Извини, я просто вспомнил, что некоторые называют свой… инструмент “братишкой”. Не спорю, рано или поздно мой братишка так же выйдет из строя, как твой. Но пока что этого не случилось. И потом, каждый человек имеет право распоряжаться своим имуществом по собственному разумению.

— Я не собираюсь тебя учить. Ты намного умнее и образованнее меня. Все знаешь, все читал. Допустим даже, что ты осознаешь свои возможности, сам все решаешь. Пусть так. Но есть немало умных, образованных людей, которые… кончают с собой.

— Не мели чепуху.

— А твоя девушка — она ведь, кажется, порядочная. Какое же, позволь спросить, ты имеешь право морочить ей голову? Все говорят, она тебя безумно любит — ты не считаешь, что это к чему-то тебя обязывает? А ты сознательно сбываешь ей товар, который через год-другой совершенно обесценится, — себя самого. Сам знаешь, твоя котировка падает. Крах недалек. Это путь по наклонной плоскости, и он необратим. Поверь моему опыту. Я для женщины больше ничего не стою. Так что теперь изволь каждый раз платить ей, иначе ты эксплуататор. Ну да, да, я говорю о себе, ты до этого еще не дошел. Во всяком случае, если мне приспичит побаловаться с девчонкой, она внакладе не останется. Я пожил на свете и понимаю — ночь любви чего-нибудь да стоит. Ты же как раз и есть эксплуататор. Ничего хорошего из этого не выйдет. Говорю тебе, если ты ее действительно любишь, то расстанься с ней. Ведь ты годишься девочке в отцы, тебе бы надо позаботиться о ней.

Я восхищенно присвистнул:

— Ну, братец, снимаю шляпу! На таких, как ты, зиждется новая Франция. Капитал, инвестиции, сбыт, прибыль — ты тут как рыба в воде, неда-

ром наши смельчаки твердят, что Франция не боится никого и ничего — что ей Америка, что конкуренция! Значит, я должен поговорить со своей любовницей и спросить, как она оценивает перспективность своего бизнеса в плане ежедневных или еженедельных доходов.

Жерар встал:

— Давай-давай, кривляйся. У меня чувства юмора нет, ты мне сто раз говорил. Юмор — это что-то новое в нашем семействе. Но я все выскажу тебе прямо, без всяких церемоний, потому что для меня ликвидация фирмы — дело слишком серьезное. Ты сунешь мне сто кусков — и иди, мол, гуляй! А что я могу сейчас сделать на эти деньги? Тридцать лет назад, когда ты вернулся из Америки, ты первым во Франции оценил, как важна упаковка, и сделал на это крупную ставку. Твоя упаковочная бумага была первой и лучшей на отечественном рынке. Но сегодня ты сам и вся твоя продукция — упаковочная бумага, и ничего больше. А внутри-то ничего. Пустота. И весь твой хваленый юмор — пустышка в красивой обертке.

Он повернулся и зашагал к выходу. Мы часто недооцениваем своих близких. Брат проявил необыкновенную прозорливость. После его ухода

я с минуту старался ни о чем не думать и глубоко дышать — полезно иной раз обратиться к простым радостям жизни. А потом раскрыл “Фигаро”, и мой взгляд упал на кулинарную рубрику:

Медальоны из телятины с лесными грибами

Время приготовления: 20 минут + 6 часов маринования

Ингредиенты:

Телячье филе — 600 г

Сок 2 лимонов

6 столовых ложек сливок

500 г шампиньонов

Молотый перец, соль

Крекер или ржаной хлеб

Мелко нарубленная зелень

Очистить телятину от жира и жил.

Нарезать тоненькими ломтиками и отбить.

В стеклянную посуду выложить первый слой мяса. Посыпать резаными шампиньонами. Добавить соль и перец. Полить лимонным соком.

Так же выложить второй и все последующие слои мяса и грибов.

Смазать сливками и поставить на шесть часов в холодильник.

Перед подачей на стол разложить на крекеры или на кусочки ржаного хлеба и посыпать

зеленью.

Я почувствовал себя готовым к употреблению.

Глава VIII

Я поднялся в номер. Дверь оказалась запертой. Постучал — нет ответа. Тогда я позвал горничную и попросил открыть. Постель была не убрана, а на подушке лежала записка:

Бывают минуты и часы, которые равны целой счастливой жизни и после которых лучше бы сразу умереть. Знаю, это звучит слишком пышно и слишком по-бразильски, но о том, что ты мне щедро даришь, не рассказать без устаревших слез и позабытых слов, вот я и говорю с тобою языком тех времен, когда у жизни были свои придворные поэты. Жизнь в наше время потеряла силу, никто и слова доброго о ней не скажет. Ее не воспевают и не прославляют, придворные поэты, проповедники, адепты и жрецы куда-то все исчезли. Она вышла из моды, ее поносят, называют бессмысленной, несправедливой, безжалостной, жестокой, нелепой, деспотичной, и, может быть, не зря — действительно, с чего вдруг, например, ей вздумалось послать мне это вот блаженство, притом не где-нибудь, а в номере "Плазы" за пятьсот франков в день?

Любимый, я только что спускалась и видела тебя с каким-то ужасно суровым человеком. И я подумала: это какой-нибудь инспектор, которого прислала Жаку жизнь, чтобы спросить отчета и призвать к ответу за преступление, которое называется счастьем. Ведь в том, что мы с тобой счастливы, есть что-то вызывающее, неприличное, бессовестное, — счастливым нет дела до всех других людей. И мне страшно. Я вернулась в номер и написала эту записку, а сейчас сижу и смотрю на разобранную постель, опущенные шторы — в этой спальне ничего нельзя трогать, все должно оставаться как есть до тех пор, пока через тысячу лет не придет другая женщина, такая же счастливая, как я, и не скажет: "Теперь уже ничего не исчезнет, и можно здесь убраться, стереть все следы".

Лаура

Я держал записку в руке и слушал музыку тишины. Прошло неизмеримо много времени — деления секунд стерлись, — прежде чем я поднес листок к губам, так же, как совсем недавно — каких-нибудь полсотни лет тому назад — подносил цветы, когда кто-то сказал мне в шутку, что они простоят дольше, если их по утрам целовать. Я вытянулся на спине и замер, стараясь, чтобы ни

одно неосторожное движение не привело меня назад, в себя, где все загромождено житейским опытом, едкой иронией, здравым смыслом и прочим барахлом. И тогда меня охватило смятение, пронзила боль — чувства, знакомые, наверно, всем стареющим мужчинам, переживающим первую юношескую любовь. Жить дальше не хотелось: зачем? только испортишь счастье этого мига. Самый трудный момент, говаривал Боннар, это когда ты рвешься продолжать, а профессиональное чутье подсказывает: еще один мазок убьет картину. Надо уметь вовремя остановиться.

Я встал и положил листок в карман. В зеркале мужчина в строгой серой двойке с синим галстуком, белой сорочке и с непроницаемым волевым лицом тоже положил листок в карман. И прошелся беглым взглядом по моему костюму.

Сердце утихомирилось и заработало равномерно, как вязальные спицы.

Я снова лег на разобранную постель. Здесь, в номере, мне спокойно, здесь я чувствую себя в укрытии. Пускай они все меня ищут. Мой коммерческий директор, директора по продаже, по развитию, по производству, по рекламе… “Он закрывает фирму. Все продает. Бросает. Никто даже

не знает, где он. Ничего не поделаешь, андропауза. Он продержался до пятидесяти восьми лет, а теперь раскис. Спятил на старости лет. Втюрился в двадцатилетнюю девчонку. Схлопочет инфаркт — помяните мое слово! Да какой из него любовник! Ну, он малый не промах, никогда не брался за гиблое дело, небось нашел себе клиторальную. Есть всякие приемы. Она бразильянка. Говорят, богатая. Богатая? Не может быть! Чтобы богатая девушка в двадцать лет связалась с таким старым пнем? Разве что у нее эдипов комплекс. Тогда ему просто повезло. Считай, вытянул счастливый билет. Никогда бы не подумал, что он может продать фирму, мне всегда казалось, что этот никогда не расстанется с лакомым куском. Вот он и не хочет расставаться. Но только просчитался — такой кусочек очень скоро сам с ним расстанется. Представляю, как взбесился его сын".

Я достал записку Лауры и перечитал ее раз десять для поднятия духа.

Глава IX

Профессор Менгар принял меня на следующий же день после того, как я позвонил ему и зачем-то сказал, что мне срочно нужна его помощь. Мы немного знакомы. Он пару раз заходил ко мне, когда я опубликовал в научной серии, которую запустил три года назад, его книги. Менгар — эндокринолог с мировым именем, специалист по вопросам старения. Больше того, он не просто ученый, а защитник цивилизации. Я бы даже сказал, защитник ее неизменности. Помню, во время нашей короткой беседы он говорил, что для любой цивилизации очень важно время от времени заново делать открытия, уже состоявшиеся в прошлом, и что он по мере сил заботится об этом. “Предмет моих нынешних изысканий — толерантность, — сказал он с почти виноватой улыбкой. — Это огромная работа: откапывать что-то в прошлом и восстанавливать, да еще с риском прослыть консерватором. Трудно, очень трудно отстаивать незыблемое, когда все вокруг мечтают о грандиозных переменах. Но так уж я устроен — люблю устойчивые ценности и по-

святил всю жизнь служению им".

Менгару восемьдесят четыре года. При взгляде на него мне чудился детский смех, мелькание сачков для ловли бабочек, должно быть, потому, что от него веяло добротой и необычным для столь пожилого человека весельем, будто бы старость и смерть для него — лишь преддверие какого-то волшебного мира. У него было длинное костистое лицо с внушительных размеров носом и множеством морщин, но казалось, не годы проложили эти борозды, а добродушный нрав, который проявлялся богатой мимической гаммой — от легкой улыбки до хохота. Кожа блеклая, как выцветший карандашный рисунок со стертой от времени игрой теней и света. Чувствовалось, что он долго прожил и состарился в счастливом браке, наверное, жена похожа на него и шестьдесят лет совместной жизни дали им некое тайное знание, в котором есть ответы на все вопросы.

Я сел в кресло перед письменным столом Менгара, уже жалея, что пришел. Апелляцию, что ли, явился подавать: получил вердикт одной медицинской инстанции и кинулся в другую, высшую. Но закон есть закон: хотя иной раз приговор выносится с отсрочкой наказания, оспаривать его в других судах — все равно что подавать кассацион-

ную жалобу на постановления самой природы.

По ходу беседы Менгар делал записи меленьким быстрым почерком. Как будто мышь выскребывала лапкой виньетки на листке бумаги. На полке у него за спиной стояла безобразная статуэтка — синий пузатый Будда с очень мудрым лицом — этакий призыв основательно заплыть жиром. Профессор перехватил мой взгляд, обернулся, ткнул Будду карандашом в пупок и засмеялся:

— Это из Японии. Жуткий урод. Но он мне дорог как своего рода трофей.

Продолжать он не стал, и я так и не узнал, то ли это имело какое-то отношение к его собственной аскетической внешности, то ли он всю жизнь вел исполненную тайного смысла войну с пупками.

— У вас возникли затруднения?

— Да. То есть… пока еще я справляюсь. И пришел… скорее… проконсультироваться. Узнать, что меня ожидает.

— В общем, вас привело беспокойство.

— Что-то в этом роде.

Он понимающе кивнул:

— Предзакатная тревога. Сердце ноет на закате, каким бы прекрасным он ни был. Сколько вам лет?

— Через два с половиной месяца исполнится

шестьдесят.

Он с дружеской усмешкой посмотрел на меня поверх очков:

— И что же вы рассчитываете узнать такого, чего не знали до сих пор?

— Сколько мне… еще осталось?

— А на что вы годитесь сейчас?

Я слегка опешил. Этот вопрос так плохо вязался со старичком, словно сошедшим со страниц сказки Андерсена, что я почувствовал себя за пределами реальности, как будто не врач разговаривал с пациентом, а два персонажа перепутали авторов и теперь пытались понять, что они оба тут делают и в силу какого сбоя обычного хода вещей их сюда забросило.

— Что вы имеете в виду?

— Ну, каковы ваши сегодняшние возможности?

— Раз или два в неделю — спокойно. Если же сверх того…

— То?..

— …большой вопрос.

— У вас уже были срывы?

— Так, чтобы совсем, — нет. Но я уже не тот, что прежде. Или, вернее, я уже не я. Такое чувство… что я все теряю.

— Как будто весь мир ускользает от вас.

— Именно.

— Остается уточнить, что такое для вас “мир” и какие… э-э… ценности вы теряете.

— Любимую женщину.

— А-а!

Он одобрительно кивнул, явно довольный и даже обрадованный моим ответом. На благородном лице читалось воодушевление жюль-верновских ученых и кроткая, но непоколебимая верность идеалам.

— Любимая женщина… да, конечно… Но иной раз женщину любят… к сожалению, как инструмент обладания миром. На ней играют, как на скрипке всесилия, извлекая из ее струн упоительные аккорды. А я, простите, слишком стар, в моем возрасте и думать-то смешно о силе. Вы, вероятно, придирчиво следите за собой?

— Постоянно. Это становится манией. И все труднее от нее отделаться. Когда понимаешь, что любишь последний… и вместе с тем первый раз в жизни… Не знаю даже, что меня мучает: страх оказаться сексуально несостоятельным или же более глобальное предчувствие…

— Предчувствие конца?

— Если угодно. Я не могу отделаться от смутно-

го предчувствия конца света, хоть и не верю, что этот конец наступит.

— Да-да, привязанность к жизни — одно из пагубных побочных действий любви.

— Не то чтоб я боялся смерти…

Профессор улыбнулся:

— Полно, полно, месье! Вы далеко не так наивны, и незачем притворяться, будто вам неизвестно, что за игру вы затеяли. Все ваши предчувствия оттого, что вы заклинаете судьбу. Хотите избежать полового бессилия — и бессилия вообще — и умоляете смерть избавить вас от этого. Любимая песня всех настоящих мужчин. *Fiesta brava!* Изнуренный бык мечтает, чтоб его закололи, он опускает голову и ждет последнего удара. И это варварство называется милосердием. Особые пристрастия есть?

— В каком смысле?

— Что-нибудь вроде группового секса для поднятия боевого духа?

— Это не в моем вкусе.

— Значит, вам приходится напрягать воображение?

— Вы имеете в виду… фантазмы?

— Ну да. Случается, наступает момент, когда силы настолько иссякают, что реальности, даже

если она прекрасна и вы сжимаете ее в объятиях, уже не хватает, тогда единственный выход — обратиться к силе воображения. В ход идут негры, арабы и даже животные. Такая практика распространена гораздо шире, чем обычно думают.

— Нет-нет, это не мой случай.

— А некоторые, идя по этому пути, попадают в знаменитый замкнутый круг Визекинда… Знаете, конечно?

— Честно говоря, нет.

— Да что вы! Это очень интересно, непременно почитайте — Визекинд блестяще описал это состояние. Итак, когда реальность теряет остроту, когда ее уже недостаточно, человек прибегает к фантазмам, то есть к воображению, но скоро и оно истощается, не оправдывает ожиданий и теперь уже само требует подкрепления реальностью. Представьте себе трагическое положение весьма и весьма порядочных мужчин, которые вынуждены прибегать к помощи разнорабочих-африканцев и заимствовать их производительную силу. Вот так-то. В подобной ситуации поистине достойны восхищения преданность, сочувствие и жертвенность женщины.

Я не верил своим ушам. Было что-то дикое, невероятное в том, что весь этот перечень изъянов

и извращений весело прочирикал прозрачный старичок восьмидесяти четырех лет, которого я минуту назад представлял себе сидящим под грибом сказочным гномом в остроконечной шапочке.

— Но это ужасно, — пробормотал я.

— Вовсе нет. Я, знаете ли, подозреваю, что не все в учении святой Церкви вранье, не говоря уже о том толстяке, которого вы приметили… — Он повернулся и постучал кончиком ручки по животу Будды. — Не думайте, месье, мои слова — вовсе не предсказание того, что будет с вами, и далеко не полный обзор интересующего вас вопроса. На свете столько горя, а мы не вездесущи. Просто объективности ради надо смотреть правде в глаза. — Он грустно усмехнулся. — Знаю, знаю… Труднее всего заключить мир с самим собой. У вас, я полагаю, не было конкретной причины обращаться ко мне, а впрочем, именно это может быть важнейшей из причин. Ведь вы сказали по телефону, что вам нужна срочная помощь. И у других врачей, без сомнения, уже побывали?

— Только у одного.

— Браво. Значит, еще не ударились в панику. Ну, а после меня в какую инстанцию вы собираетесь обратиться?

“Что я тут делаю? Зачем испытываю терпение этого великодушного христианина?” — подумал я.

Мы помолчали. На письменном столе профессора стоял букет полевых цветов, на стене тикали старинные часы с висячим маятником. Менгар ласково смотрел на меня поверх очков. Он был похож на святого Франциска Ассизского с фресок Джотто. Не хватало только птичек и грубой рясы.

— Благодарю вас за… предостережение, доктор. Но, думаю, в этом смысле мне ничего не грозит. У меня очень развит инстинкт самосохранения. Признаться, мне еще не доводилось подходить к вопросам секса с точки зрения сексологии. Мне как-то всегда казалось, что если секс нуждается в сексологии, то она уже ничем ему не поможет. Увы…

— Понимаю, понимаю.

— Я люблю молодую женщину, люблю так, как не любил никогда в жизни.

— И она вас любит?

— Я в этом уверен.

— Так дайте ей возможность проявить свою любовь. Поговорите с ней откровенно.

— Я боюсь ее потерять. И потом… начнется

жалость. “Бедненький ты мой!”… и так далее.

— Я думал, вы говорите о любви, — сказал Менгар. — Впрочем, я, наверное, сужу по себе, а в моем возрасте все больше и больше тяготеешь к бесплотности. Что ж, давайте посмотрим, в каком состоянии ваши физические ресурсы. Насколько я понимаю, в общем функции не нарушены?

— Желание возникает само, тут все нормально, но дальше приходится прикладывать усилия.

Он что-то записал в моей карточке.

— Значит, затруднения с эрекцией.

— Не то чтобы, но…

— Не оправдывайтесь, месье. Вы не в суде, никто ни в чем вас не обвиняет. Ваша честь как француза, патриота и бойца Сопротивления вне подозрений. А как у вас с проникновением? Не жалуетесь на мягкость, гибкость, вялость члена, на участившиеся промахи и отклонения в самый ответственный момент? О, тут мы касаемся деликатного предмета, об этом много говорится в шеститомной “Сексуальной энциклопедии” Зильбермана, которую вы же и издали. Вялый член тычется в поисках входа и никак не находит, а все дело в том, что ему не хватает силы и твердости, чтобы раздвинуть вагинальные губы, он просто не может войти, а думает, если

можно так сказать, что вход куда-то запропал. Но погодите! Еще не все потеряно. В труде Зильбермана, который немало способствовал продлению сексуальной дееспособности в Европе, предлагается для такого случая особая технология. Итак, лежа на своей возлюбленной, вы правой рукой обхватываете ее бедро и подставляете вилку из пальцев под основание своего члена, удерживая его внутри и не позволяя вываливаться. Зильберман называет такой прием “костылями”. Это выглядит примерно так.

Щуплый профессор встал, наклонился вперед, словно танцор танго, обнимающий партнершу, подвел правую руку с двумя расставленными пальцами под воображаемые ягодицы и, постояв минуту в этой позе, сел на место.

Мне стоило большого труда оправиться от изумления и вспомнить, что передо мной соратник Бертрана Рассела, убежденного христианского гуманиста и либерала, который славится на весь мир широкими взглядами и внимательным отношением к любым физическим и моральным страданиям.

Я заглянул в глаза профессора и встретил радушный прием.

Светившаяся в них искорка веселья не имела

ничего общего ни с пошлым зубоскальством, ни с раблезианскими шуточками. В этом веселье было столько доброты и грусти, что я вдруг перестал тяготиться собой. Лицо профессора над нелепым галстуком-бабочкой в синий горошек, — лицо, которого старость, кажется, коснулась лишь затем, чтобы подчеркнуть его кротость, приглашало вместе посмеяться над вздорностью, ничтожностью и нелепостью всей шкалы телесных мер и весов.

— Поняли? Зильберман утверждает, что таким образом ему удавалось обеспечить пациентам несколько лет отсрочки. Для этого, конечно, нужно быть несгибаемым, прирожденным борцом. Французы в этом плане сильно отстали, мы теряем вкус к жизни, нам не хватает упорства в достижении недостижимого. В Америке устраивают практические курсы реанимации, снимают порнофильмы, создают институты секса, используют все средства. Американцы сознательно держатся за свой уровень жизни, за свои права и проявляют отчаянную стойкость, это последние в мире настоящие фаллократы. Они держат на своих… плечах всю тяжесть западной цивилизации. А мы? О-хо-хо, как низко мы пали!

Задорные искорки щекотали меня.

— Бедная наша старая добрая Франция! Только-только годам к пятидесяти — пятидесяти пяти достигаешь положения, когда можешь позволить себе молоденьких девушек — как раз для этого понизили до восемнадцати лет возраст совершеннолетия, — и на́ тебе: все силы ушли на то, чтобы выбиться в люди, а на секс их уже не хватает. Тогда или — или: или радости жизни обходят вас стороной, или женщина должна возбуждать вас по полчаса, а на это способна только святая, потому что поэтический порыв быстро угасает и милосердие имеет границы, которые не могут расширить даже мысли о новом автомобиле или горнолыжном курорте… Что с вами? — с притворной заботливостью осведомился профессор. — Вам нехорошо?

— Нет-нет, не обращайте внимания. Холодным потом прошибло — такое у меня бывает. Продолжайте, пожалуйста.

— Впрочем, не следует обольщаться: если даже вам при помощи различных ухищрений удалось осуществить проникновение, это еще не значит, что вы продержитесь должное время в должном тонусе. Большинство вполне крепких мужчин за пятьдесят полагают, что стоит им внедриться, как дальше все пойдет само собой, но это только

самое начало дела. Тянуть, когда не хватает твердости, обеспечить женщине оргазм — порой это необходимо, когда твои акции упали процентов на тридцать, — серьезная проблема, с которой нашим бизнесменам прежде не приходилось сталкиваться. Ведь в молодости не придаешь особого значения тому, будет ли женщина первым бенефициаром, какая разница, если ты уже через двадцать минут готов провернуть все еще раз, движимый здоровым природным голодом. Восстановительный потенциал молодых потрясает и возмущает, если учесть, что они еще ровным счетом ничего не сделали для блага общества и не достигли никакого, хоть мало-мальски приличного положения. А какие ресурсы, мощные вливания, естественный рост! Это ли не вопиющая несправедливость! Что ж, можно переориентироваться, переключиться, например, на смачные кулинарные рубрики — они для того и существуют. Ну, знаете, разные гиды с подробными описаниями утешительных достопримечательностей национальной кухни, на которые так щедра старушка Франция, — они помогут вам открыть для себя новые наслаждения и, так сказать, расширить сферу интересов. Диверсификация — великая вещь, месье! Учи-

тесь у Рено!

Он поучающее поднял палец, и я рассмеялся первый раз за все время разговора не вымученным защитным смехом, а самым натуральным — просто оценил юмор собеседника.

— Ну вот, сами видите: жизнь вовсе не становится серой и тусклой из-за этого… органически неизбежного энергетического кризиса. Я понимаю, для простолюдинов примитивные удовольствия — единственно доступные, но интеллектуально развитому культурному человеку так уж цепляться за них не пристало. Тем, для кого дешевый секс-минимум — давно пройденный этап, предоставляется широкий выбор развлечений, в какой-то мере уравнивающий их шансы на счастье с шансами разнорабочих-африканцев. Кроме того, некоторым еще и везет. Вам, например, попадаются идеальные, совершенно фригидные женщины, а ведь далеко не всем из ваших еще крепких ровесников удается заполучить такое сокровище, большинство моих пациентов жалуются на бешеный темперамент своих супруг или любовниц, которые требуют, чтобы их ублажали аж два раза в месяц! А то еще бывают — уж поверьте мне — такие, что норовят все назло: могли бы управиться за пару минут

и отпустить вас, но растягивают удовольствие — это следовало бы запретить законом! — вынуждают вас — преступно вынуждают! — трудиться в поте лица, выбиваясь из сил, чуть не четверть часа, и плевать им на ваше давление, а также на инфляцию, ограничение кредита и истощение сырьевых ресурсов. На карту поставлен — шутка ли! — ваш престиж, оплошаете — потеряете лицо, репутацию героя-любовника, словом, вам грозит полная де-валь-ва-ция! И уже не отвертишься, пришло время предъявить отчет, а *она* гладит вас по головке и нежно воркует: “Ну, ничего, милый, ничего!” — о, как же люто — люто, иначе не скажешь — вы ее ненавидите. Можно, конечно, встать на колени и полизать ее, если только вы не кавалер ордена Почетного легиона, но это значит признать свое поражение, месье, признать, что фронт прорван, войска беспорядочно отступают и пехота с артиллерией вам уже не подчиняются; теперь ваш удел — второстепенные роли, и она прекрасно видит, что вы уничтожены; если же она привыкла к глубинному апофеозу и не очень жалует халтурщиков, то скоро наступает неприятнейший момент, когда она легонечко отталкивает вашу голову и между вами повисает оглушительная тишина, будто лопнул воздуш-

ный шарик; объяснений не требуется, но вы оба стараетесь скрыть разочарование и злость, цивилизованно изображаете непринужденность. Дескать, какие пустяки, выкурим по сигаретке, выпьем по глоточку виски, поставим музыку и поговорим о чем-нибудь *действительно* важном, не столь низменном, нужно быть выше таких вещей. Впрочем, у вас еще остается шанс. Ибо если женщина любит вас по-настоящему или, на ваше счастье, она скромна и в ней легко просыпается чувство вины, то она подумает: “Я ему больше не нравлюсь”, а то и “Он разлюбил меня”, — вот вам и взаимопонимание полов, — и тогда, возможно, вам удастся свалить все на нее.

Менгар замолчал. В кабинете явно стало темнее: то ли туча набежала, то ли сумерки сгустились, — не знаю.

— Ах, люди, люди, — с оттенком умиления в голосе прибавил профессор. — Уму непостижимо, во что они вкладывают понятие о чести. То, что болтается между ног, должно бы красоваться на голове, как корона.

Он встал. В мрачноватом — красное дерево и кожа, — плохо освещенном кабинете его блеклое лицо почти светилось. Тонкие губы растянулись в непривычной улыбке, а нестареющие глаза

погрустнели. Где-то в глубине квартиры рассы́пались ноты мелодии Рамо, словно прозрачные дождевые капли упали на вековую пыль французских проселочных дорог.

— Простите, что заставил вас потратить время попусту, месье, — сказал профессор и протянул мне руку. — Заболтался, а рекомендации-то никакой вам толком не дал. Есть, разумеется, другие специалисты: Нимен в Швейцарии, Хорсшит в Германии… Все зависит от того, что вы понимаете под словом “любовь”.

— Вы помогли мне наилучшим образом, — сказал я.

Профессор склонил голову набок и прислушался.

— Моя жена любит Рамо и Люлли, — сказал он, — и я сам со временем к ним пристрастился, потому что каждый раз, когда слышу эти мелодии, думаю о ней. Мы женаты уже пятьдесят лет, и все эти годы она играет на клавесине.

Он с некоторой поспешностью проводил меня до дверей. По-моему, ему хотелось поскорее остаться наедине с женой.

На улице я зашел в бистро. В голове все смешалось. Тянуть больше нельзя, твердил я себе, но и решиться ни на что не мог — так бы и дал

себе пинка!

— Дайте мне, пожалуйста, пинка! — брякнул я официанту.

И только увидев на его совершенно бесстрастном лице тень раздражения — кто-то еще пытается чем-то его удивить, его, бывалого парижского официанта! — поправился:

— Я хотел сказать, пивка.

Слегка разочарованный тем, что все вернулось в рамки, официант удалился к стойке. Пойду позвоню Лауре, подумал я, и попрошу прийти в это крошечное кафе в Латинском квартале. Оно ничуть не изменилось с тех пор, как я был студентом; здесь, в этих стенах, звучало столько любовных клятв и было пролито столько прощальных слез, что мы выйдем отсюда, уверенные: ничего никогда не кончается и сказать: “Мы больше не увидимся” — все равно что назначить новое свидание. Слишком я любил Лауру, чтобы смириться с потерей будущего. Как скажешь: “навсегда”, если тебе уже отмерен срок? Я превратился в старого лгуна, который, выходит, врал душой и телом — самые искренние чувства опошлялись меркантильной экономией сил и заботой о технических деталях. Теперь уже не в гордости и не в самолюбии было дело, я шел

на разрыв не для того, чтоб избежать позорного банкротства, а чтобы не потерять себя. Слишком я любил Лауру, чтобы тащиться на костылях, пытаясь догнать свою любовь. Я достал из кармана письмо, которое получил от нее утром, — она вечно оставляла за собой целый шлейф из этих писем, могла вдруг сунуть мне в руку или, пока я сплю рядом с ней, встать и написать очередное. Они обнаруживались у меня в карманах, приходили по почте, выпадали из книг — записки в несколько слов или плотно исписанные страницы, будто всюду пробивались побеги буйной, яркой зелени, пышно разросшейся под сияющим в ее сердце солнцем, слишком жарким для наших умеренных, тяготеющих к пастельным краскам широт.

Все утро, пока ты был на работе, я гуляла с тобой вдоль Сены и купила у букинистов сборник бразильского поэта Артюра Рембо — знаешь, того, что открыл истоки Амазонки и по трагической ошибке, которую давно пора предать забвению, родился французом. Тебе не понять, как важно для меня, чтобы ты был со мной, когда тебя нет рядом, а то Сена да Сена да парижское небо — никудышные спутники, им все это давным-давно осточертело, и вид у них ужасно скучный,

годится только на почтовую открытку.

Я зашел в телефонную кабинку и набрал номер.

— Да зачем мне идти в какое-то кафе? Там слишком прилюдно.

— Ну пожалуйста! Я ходил сюда, когда мне было двадцать лет. И мне тебя ужасно не хватало — помню, как сейчас. Часами сидел и ждал тебя. Нарочно выбирал место напротив двери и высматривал. Хорошеньких девиц входило-выходило сколько хочешь, но ты никак не шла. И вот теперь я сел за тот же столик, и наконец-то ты придешь. Тогда я наберусь смелости, подойду к тебе и заговорю. О Франклине Рузвельте, которого только что избрали американским президентом, или о Билле Тилдене, который победил на Уимблдонском турнире. Ты сразу меня узнаешь — я тут единственный мужчина под шестьдесят, с седоватым бобриком и восемнадцатилетними — но только для тебя — глазами. А в руках буду держать письмо, которое ты написала мне тогдашнему.

— Я писала тебе сегодняшнему. Искать какого-то другого у тебя, милый, нету времени. Ты, между прочим, скоро постареешь. Да и места больше не осталось — в обрез на меня. И это

очень хорошо, я чувствую себя… как это сказать по-французски… безугрозно?

— Так и скажи. Как раз такого слова во французском языке и не хватало. Приходи поскорее, Лаура. Я должен сказать тебе что-то важное.

Вернувшись за столик, я подозвал официанта и спросил:

— Откуда вы родом?

— Из Оверни, — нехотя процедил он. В его служебные обязанности такие услуги не входили.

— Как по-вашему, если мужчина под шестьдесят собирается порвать с молодой женщиной, которую любит и которая любит его, о чем это говорит?

Овернец презрительно скривился:

— О том, что он болван. Это все, или вам еще пинка?

— Да, правильно, болван! Иначе говоря, благоразумный человек. Что ж, принесите рюмку коньяку, бумагу, ручку и конверт.

Первый раз в жизни приходилось мне писать подобное письмо, до сих пор я каждый раз ухитрялся так извернуться, чтобы инициатива разрыва исходила от противной стороны — элегантная наглость, или искусство быть джентльменом.

Я горько разочаровался в Вас, Жак Ренье. Вы

оказались ничтожным, меркантильным человеком, позорно озабоченным сметами, балансами, процентами и дивидендами. Бесшабашный смельчак, которого я знал когда-то в молодости, превратился в жалкого лавочника, который трясется над своей кубышкой. Вы разучились жить сегодняшним днем и все время с опаской думаете о завтрашнем. Как только Ваш мужской потенциал пошел на спад, Вы сразу повели себя как бизнесмен, который боится, что не сможет больше расплачиваться с партнерами, и спешит выйти из дела. В Вашем распоряжении есть несколько месяцев или даже полгода, а если повезет, Вы помрете ЕЩЕ ПРЕЖДЕ от инфаркта, но Вам этого мало, Вам нужны горизонты и перспективы, плантации времени в десятки гектаров! Раньше Вы каждый день рисковали жизнью, теперь же у Вас в груди не сердце, а предохранитель. Поэтому я решил порвать с Вами. Не желаю больше разделять Ваши мысли, Ваши мелкие амбиции, лелеять Ваше больное самолюбие и трусливо отрекаться от всего, лишь бы не проиграть. Я расстаюсь с Вами и с Вашей манией во что бы то ни стало быть не только честным игроком, но и образцовым производителем. Буду любить Лауру, как могу и сколько хватит сил,

а когда силы подойдут к концу, приму его, как подобает мужчине. Оставить Лауру из страха перед унижением? Ну нет, тогда бы грош цена была моей любви.

Прощайте.

Я надписал свой адрес на конверте, тут же у стойки купил марку, приклеил ее, опустил письмо в почтовый ящик и с легким сердцем сел на место. До чего же приятно перебороть силой воли самого себя, принять труднейшее решение и утвердиться в нем.

Впорхнула Лаура — летучая грива, стремительные, вразброс движения, они всегда напоминали мне неопытного слётка. Она села напротив меня и стиснула сплетенные пальцы — я так любил ее, что бодро лгать улыбкой было безнадежно.

— Что случилось, Жак? Или ты… собираешься бросить меня? Свидание в бистро, “должен сказать что-то важное”… это чтобы не пришлось объясняться наедине?

— Просто я еле отделался от одного мерзкого типа, и мне ужасно захотелось тебя увидеть. В двадцать лет я частенько сидел тут несчастный, давно пора бы сменить пластинку.

Мы держали друг друга за руки поверх столика. Глаза у Лауры наполнились слезами.

— Жак, что делают люди, когда они слишком счастливы? Пускают себе пулю в лоб? Я чувствую себя воровкой. Такого на свете не бывает!

— Обычно все как-то утрясается. Не стоит бояться счастья. Оно быстро проходит.

Лаура прижала мои руки к своим губам. К нам подрулил официант. Надорвал оплаченный чек, перевернул блюдечко, немножко подождал и, на прощание обмахнув салфеткой столик, гордо удалился, точно сложившая с себя полномочия судьба.

— Я закрываю лавочку, Лаура. Сворачиваю все свои дела. Слишком много я в жизни боролся, так что в конце концов это вошло в привычку. Всегда на ринге. На арене. И вот хочу в последние годы, сколько там их осталось, пожить как следует. Хочу уехать. Уехать, понимаешь?

Я почти кричал, а Лаура внимательно молча смотрела на меня.

— Здесь мне все время кажется, что за мной кто-то гонится. Что меня подстерегает западня, которая вот-вот захлопнется! Бежать, скорей бежать с тобою вместе! И как можно дальше! В Лаос. На Бали. В Кабул. Тут, понимаешь, у меня тревожное предчувствие неотвратимости.

— Неотвратимости чего?

— Чего-то такого… Заката Европы по Шпенглеру. Падения Римской империи. Скоро конец, уже воняет мертвечиной.

— Я хочу одного: быть с тобой, в твоих объятиях. Для этого билета на самолет не нужно.

— Знаешь, во время оккупации английское радио передавало якобы “личные сообщения”. “У тети Розы еще есть припасы. Дети скучают по воскресеньям. Месье Жюль прибудет сегодня вечером”. На самом деле это были шифровки для ячеек Сопротивления. Прости, что я заговорил о войне.

— Только не говори о своем возрасте.

— Не буду. Что такое возраст? Про возраст пусть талдычат дураки, бедняки и крохоборы. А я хочу наслаждаться вовсю, дышать полной грудью, ни на что не скупиться, ничего не отвешивать и не отмеривать. Вон моему отцу восемьдесят пять, а он режется себе в картишки!

У Лауры расширились глаза.

— Жак, что с тобой?

— Ничего. Ровным счетом ничего. Кардиограмма в норме, давление сто двадцать на девяносто. Просто я получил личное послание.

— От кого?

— От Жискар д’Эстена. Он как-то объявил по

радио: “Отныне все будет не так, как прежде”. И все французы поняли. Это он имел в виду портновский сантиметр.

— Портновский сантиметр?

— Ну да.

— У Жискар д’Эстена есть сантиметр?

— Он есть у каждого ублажающего себя… я хотел сказать — уважающего себя француза. Смысл в том, что рано или поздно мне придется отказаться от тебя, поскольку все будет не так, как прежде, а зависит это от портновского сантиметра! Такое личное послание, Лаура. Я говорю с тобой с предельной откровенностью, а ты не хочешь слушать! И нечего смотреть на бутылку, да, я немного выпил, но мужчине нелегко отважиться на такое признание… так вот прямо и грубо все высказать. Зато теперь какое облегчение! Вот видишь, милая, я наконец решился и все выложил.

Глава X

Было, наверное, часа два ночи. Лауру сморил сон, она только успела потянуться ко мне, коснулась носом моей щеки, но поцелуй завял на полпути, и она замерла, так дети засыпают прежде, чем успевают поудобнее устроиться. А я лежал с открытыми глазами. В темноте чуть теплился розовый ночник. Все опять свелось к отчаянной борьбе с изношенным, отказывающимся служить телом, которым подменили мое, и закончилось жалкой победой; после страшного нервного напряжения я погрузился в транс, боль притуплялась, и, недозрев, гасли мрачные мысли. Руки, ноги, спина отяжелели, а внутри, в свинцовом телесном скафандре, гнездились полная опустошенность и ничтожество, раскинулась нулевая зона, куда инкогнито, с ознакомительным визитом, нагрянула смерть.

Вдруг я услышал легкий скрип. Шорох быстрых шагов по паласу. И снова тишина, но там, где мне почудилось движение, глаза как будто различали во тьме сгусток тьмы поплотнее.

Я нащупал выключатель. Включил свет.

Все произошло в одно мгновение. Прыжок — и к горлу мне приставлен нож.

Парень в фуражке и костюме личного шофера. Под ремешок на плече засунуты черные перчатки с хищно растопыренными крючковатыми пальцами. Куртка распахнута, под ней белеет облегающая футболка.

Лицо немыслимой, звериной красоты. Черные брови сошлись на переносице, угрожающе сжаты губы, выражение холодной решимости на лице — сейчас убьет. Дернись я — и все будет кончено, мне не придется глотать позор, смиряться и свыкаться. Но я не шевелился. Мне хотелось остановить время, продлить эту возможность избавления, насладиться сполна внезапным приливом невесомости, свободы и энергии, что подтянул обвисшие пружины в разболтанном механизме.

Я улыбнулся, и лицо его тревожно дрогнуло. Должно быть, первый раз за долгое-долгое время улыбка моя была правдивой и не скрывала, а показывала истинные чувства. Нож чуть сильнее вжался в кожу. Не в середине шеи, а у самой сонной артерии. Разбирается малый!

Не помню, чтоб с тех пор, как я запаковался в защитную броню иронии, мне довелось хоть

раз опять почувствовать себя самим собой. Даже дыхание не участилось — полное спокойствие. Выходит, я не так уж изменился, нутром остался тем же, что в войну, при немцах. Араб, подумал я сначала. Но острие ножа, приставленное точнехонько к смертельной точке, вдруг вызвало вспышку в памяти: яркое небо Андалузии и смерть быка от шпаги Хуана Бельмонте, я видел этот бой, а вскоре старый, уставший от жизни матадор прикончил сам себя — застрелился из ружья.

Как хорошо! Вот он я настоящий.

Рядом ровно дышала Лаура. Меня обожгла тревога: как бы она не проснулась. Меньше всего я хотел, чтобы Лаура испугалась. Значит, хватит предаваться упоительным воспоминаниям о себе. Нож к горлу мне приставил не заброшенный в наш тыл на парашюте немецкий диверсант, а заурядный гостиничный вор, который не решался ни убить меня, ни уйти, потому что я мог дотянуться до звонка и поднять тревогу. Лицо бедняги заблестело от пота. Жалкий любитель! Воришка нарядился шофером, чтобы его не остановили на входе. А теперь не знает, что делать.

Я взялся рукой за лезвие и отвел нож в сторону. У вора забегали глаза, он растерялся, струсил, —

глядишь, ошалеет от страха и правда убьет.

Я отпустил нож и протянул руку к звонку. Теперь ему оставалось либо полоснуть меня по горлу, либо перестать строить из себя крутого и признать, что он всего-навсего мелкий воришка, — именно это он и сделал. Потряс ножом впустую, схватил с тумбочки золотые часы и попятился к двери.

— Спуститесь лучше по черной лестнице, как выйдете — налево, — сказал я.

Забавно, как он отреагировал — хрипло пробормотал:

– *Sì, señor*…[10] — и выскочил вон.

Я мог позвонить вниз — и вора поймали бы раньше, чем он успеет добежать до первого этажа. Но я всегда сочувствовал диким животным. Требовать, чтобы им отвели заповедники, и звать полицию всякий раз, когда какая-нибудь особь забредет в дорогую гостиницу, — это слишком легко. Я словно все еще видел лицо молодого хищника, его наэлектризованное, застывшее в предельном нервном напряжении тело. Даже в двадцать лет я не походил на него: был белобрысым — нормандская кровь! — и смахивал на

---

[10] Примечания: 10
Да, сеньор… *(исп.)*

немца. Но если б можно было начать все заново и если б мне предложили самому выбирать себе внешность, я бы не отказался заполучить для новой молодости эту грацию другой расы и это вспоенное другим солнцем лицо. *Sì, señor*… Гранада, Кордова… Скорей Андалузия.

Бледный розовый ночничок вдруг стал совсем ненужным. Вор оставил приоткрытой дверь, так что в гостиную из коридора проникал яркий свет. Я встал и закрыл ее, а прежде чем снова лечь, склонился, стоя у кровати, над безмятежно спящей Лаурой. Она лежала на спине, одна рука с раскрытой — как не поцеловать! — ладонью была закинута на подушку, другая терялась где-то в собравшихся под нашими телами простынных складках. Губы полуоткрыты, и снова я украдкой сорвал с них сладкое мгновение, точно мальчишка, что темной ночью рвет яблоки в чужом саду. Прикоснулся слегка, чтобы Лаура не проснулась и чтобы ничто не потревожило ночную тишину залитого луной пустого сада, — пускай себе его хозяин витает в снах. Не знаю почему, во мне вдруг окрепла спокойная уверенность, как будто я преодолел какой-то барьер, нашел выход из тупика, как будто дикое, звериное начало дало мне надежду на обновление, на то, что жизнь не

кончилась.

Сон не шел. Ночной вор так и стоял передо мною, подбоченясь, широко расставив ноги, — стоял и вызывающе смотрел мне в глаза. И то ли правда был оттенок иронии в его взгляде, то ли это я наделил его частицей того, чем сам располагал в избытке. Неоспоримые атрибуты самца дразнили тугим бугром на кожаных штанах. Я и не думал, что память у меня такая цепкая. Длинные, с молодым здоровым блеском волосы, черные брови вразлет, выступающие, почти азиатские скулы над впалыми щеками, и во всех чертах сквозит неутолимая первобытная алчность.

— Руис… — прошептал я. — Руис — так тебя будут звать.

Глава XI

Прошло несколько дней, и он первый раз пришел мне на подмогу.

Мы с Лаурой поехали за город. Благо май выдался погожим — тепло, как летом. День клонился к закату. Нас покрывало кружево теней и бликов, уже успевшее немножко пожелтеть, ранняя весна выпустила на волю божьих коровок и белых бабочек. Луара текла тут медленно, через силу, точно дама преклонных лет совершала вечерний моцион вокруг родового замка. А в небе парили белые платьица, воспоминания о всех любовниках, когда-либо гулявших вдоль реки. На другом берегу виднелись разлинованные поля и аккуратные холмы. Самый что ни на есть классический французский пейзаж, живая басня Лафонтена. Не хватало только щуки-кумушки да цапли-долгошеи[11], но и классические пейзажи имеют право на провалы в памяти. А вот открыточных видов, “дышащих историей”, совсем ни одного — ни замков, ни соборов, наша знатная дама бродила здесь инкогнито, не боясь уронить

---

[11] Примечания: 11

Персонажи басни Лафонтена “Цапля” в переводе В. А. Жуковского.

свой престиж. Ближний лес то смеялся девичьим голосом с привизгом, то резко и надолго умолкал — как тут не заподозрить поцелуй, а то и что-нибудь похуже. И это такой чинный, благородный лес-аристократ!

Я держал руку Лауры.

На том берегу стояла, растопырив весла, пустая одноместная спортивная лодка, не люблю я такие — они похожи на пожизненные камеры-одиночки. Шмели бесцеремонно плюхались куда попало с поистине шмелиной неуклюжестью, стрекозы к вечеру вошли в раж и носились с поистине стрекозиной грацией. Дольше молчать было невозможно — молчание усугубляло тяжесть поражения, которое здесь и сейчас пришлось признать моему телу. Нужно было как-то выкарабкаться, начать беззаботную болтовню, опять, в который раз, все замять или сказать что-нибудь красивое и изящно закрученное, например, что и последнее свое дыхание я вложу в поцелуй. Погладить Лауру по волосам, подбодрить — кто же не знает, что в любви, даже такой, как наша, случаются порой физические сбои. И вновь поцеловать ее не знающими устали губами, так нежно и так страстно, чтобы показать: не все мои запасы оскудели и в арсенале кое-что осталось.

Лаура повернула голову:

— Почему ты смеешься?

— Да просто так, забавно.

— Что?

— Энергетический кризис.

— У вас, французов, вечно на уме одни арабы.

Мне вспомнилось быстрое, хриплое *sì, señor.* Достаточно увидеть хоть одного чистильщика обуви в Гранаде, и сразу станет ясно, до чего сильна в испанцах примесь мавританской крови.

Лаура прижалась губами к моему уху и прошептала первые буквы алфавита.

— Что это значит — “а-б-в-г-д”?

— Тебе не хватает простоты.

— Все слишком сложно, Лаура, для человека с такими изощренными мозгами, как у меня. Самые мощные умы нашего века — что Маркс, что Фрейд — ратовали за самосознание, и мы утратили безотчетность. А потому лишились счастья, ведь счастье — это прежде всего душевный покой, у счастья страусиные замашки — голову в песок. Не говоря уже о том, что в самокопании по всем правилам психологии есть какой-то мухлёж.

Трёп — малоизвестный вид молчания.

— Ты слишком придираешься к себе, Жак. Все время недоволен собой или зол на себя… или…

Мне не хватает французских слов… Ты себя недолюбливаешь — вот что! Надо быть терпимее. А ты нетерпим.

Лаура наклонилась надо мной, с травинкой в руке. Я думал, пощекочет, как принято у культурных травинок, но в Бразилии леса еще дикие. В глазах ее играли янтарные искорки, забранные в узел волосы подставляли лоб щедротам закатного солнца. Напитанному счастьем свету. Она отвела глаза, чтоб не мешать мне любоваться собой, и, как всегда, когда чувствовала на себе чей-то взгляд, улыбнулась чуть виноватой и чуть скованной улыбкой. Верно, многие ласкали ее глазами, но мою пару глаз, я уверен, она предпочитала всем другим как самую умелую. У меня мелькнуло в голове, что, когда зрение ослабевает, прибегают к очкам, но я отбросил эту мысль как недостойную. Да и Руиса, опасного соперника, рядом не было.

Нас донимала мошкара — то и дело какая-нибудь тварь лезла куда не просят, а захочешь прихлопнуть — так и тут тоже ни за что не попадешь. Зря я, конечно, все это затеял, прямо на траве, а сколько потел, пока догрёб до нужного места! Надо беречь силы и сдерживать животные порывы. Но виновата и Лаура — эта ее юбка в

обтяжку, слишком длинная и узкая, пока я с ней возился, все сникло: ни подъема, ни тонуса. Не понимаю, как импрессионисты ухитрялись сохранить спонтанность! Лаура ласково, с детским усердием проделала все, что могла, чтобы добыть огонь, но у меня, должно быть, выпал неудачный день, надо было сначала свериться с гороскопом. Исчерпав же все средства искусства, техники и мастерства, она положила голову мне на живот и прошептала извечную присказку, или милостивую эпитафию мужской силе:

— Я такая неловкая…

Я промолчал — самолюбие, как бизнес, не брезгует и жалкими грошами. В конце концов, начало импотенции — не конец света, и я еще вполне могу встретить милую, уравновешенную женщину зрелых лет. Мы переспали бы пару раз, чтоб убедиться, что ни одному, ни другой это больше не нужно, и зажили бы тихо-мирно. Знаю-знаю: человек отличается смехом от животного, но ведь нельзя все время отличаться! На Лауре бархотка с камеей, белая кружевная блузка, купленная еще в xix веке на блошином рынке, и длинная шоколадного цвета юбка, как у школьниц в романах Колетт, ей так к лицу другие времена, другие нравы. Сегодня вечером мы идем на премьеру

пьесы Анри Бернстейна[12], модного молодого автора. А в общем, что же, всего четыре дня тому назад у нас прекрасно получилось.

Ее шляпка лежала в траве, чудесная белая шляпка с широкими полями и кремовым воздушным шарфом, будто перелетная птица опустилась на землю после приятного путешествия. Лаура пошевелила затекшими в узком коричневом футляре коленками. Я нашел их рукой и стал ласкать едва-едва, самыми кончиками пальцев, ведь чем легче прикосновение, тем больше отдача. И вдруг Лаура с рыданиями бросилась мне на грудь:

— Жак, я боюсь, я все время боюсь. Мне кажется, ты от меня отдаляешься.

Я молчал и по инерции продолжал ее гладить.

— Ты столько пережил, столько раз любил… Уже пресытился. А временами так и чувствуется: ты от всего устал. Тебе не хочется опять проходить все сначала, перекраивать свой мир, свою жизнь под новую любовь. И эти твои вечные усмешки — как будто ты повидал все на свете: что было при потопе, при царице Савской и так далее, не заводить же заново волынку из-за ка-

---

[12] Примечания: 12

Анри Бернстейн (1876–1953) — французский драматург, популярный в начале XX века.

кой-то влюбленной девчонки…

— Мне скоро шестьдесят.

— Ну и хорошо. Есть шанс, что никакая мерзавка не успеет тебя отбить. Конечно, где мне до твоих прежних женщин…

— Не надо, Лаура. Не было этих прежних. Никого не было!

— Вот и сейчас я оказалась неумехой. И вообще иногда себя чувствую полной кретинкой во всем, что касается секса.

— Если один из двоих чувствует себя полным кретином во всем, что касается секса, значит, другой — еще больший кретин.

Я крепко обнимал ее, и понемногу она успокоилась, но шляпка в траве, кажется, затаила ко мне неприязнь.

— Увезти бы тебя в Бразилию, подальше от всех твоих забот.

— Какие там заботы! Жискар, Ширак и Фуркад непременно нас вытащат. Ну да, сейчас все плохо: безработица, падение спроса, кредитный дефицит, но это все закономерные ступени, ведущие к выходу из кризиса. Вот интересно, не мечтали ли римские патриции тайком о варварах? А некоторые принимают свой собственный упадок за гибель всей цивилизации. Не знаю, мечтают ли

замки Луары о разнорабочих-африканцах и нет ли в этих мыслях постыдной эксплуатации этих самых африканцев, не говоря уж о том, что я им не оплачиваю сверхурочные…

Он немножко похож на Нуриева, особенно скулы и губы, и что-то азиатское в разрезе глаз. Только он помоложе, и дикарство в нем выражено куда ярче. Характернейший тип наших завоевателей: из тех, кого Карл Мартелл обратил в бегство при Пуатье, а Ян III Собеский разбил при Вене. Я и не знал, что для моих фантазмов так важны победы предков. Его черные космы при каждом движении взметались, как конский хвост на скаку. И хоть это видение на луарских берегах я создал сам, а значит, был его полновластным хозяином, я не мог удержаться, чтоб не придать ему величия принца крови… или хищного зверя, наверно опираясь не столько на беглое воспоминание, сколько на шедевры мирового искусства. Красота диктовала свои каноны, а жаль — ничтожеством гораздо легче пользоваться. Так что я стер его и велел не являться назад, пока не вернет себе шоферский костюм и бандитский вид.

— О чем ты задумался, Жак?

— О невозможном. Пора идти. А то стемнеет.

Мы вернулись в лодку, и я сел на весла. Передо

мной скользила по облакам на тускло-голубоватом фоне прекрасная носовая фигура, шляпка покоилась у нее на коленях. Позавидуешь, ей-богу, этой шляпке!

— Почему ты все время одеваешься одинаково, Жак, под Хамфри Богарта, шляпа и все такое, как на фотокарточках тридцатилетней давности?

— Не знаю. Наверно, по привычке. А может, чтобы поддерживать иллюзию, будто я не меняюсь и остаюсь всегда похожим на себя. Или это такой хитрый ход: старомодность как последний крик. *Any more questions?*[13]

Лаура критически меня оглядела:

— Не уверена, что я полюбила бы тебя тридцатилетним. Скорей всего, меня бы отпугнуло, что у тебя еще столько всего впереди. Я тебя не обидела?

— Что ты! У нас и правда осталось очень мало времени, — спокойно сказал я. — Надо поднажать.

Я смотрел поверх ее головы, на горизонт. Все искал глазами замки, какой-нибудь всегда же должен ждать за поворотом. Зачем-то мне срочно понадобились каменные монументы. Но попа-

---

[13] Примечания: 13
Еще вопросы? *(англ.)*

дались только песчаные отмели, похожие на всплывших брюхом вверх дохлых рыб. Лишь иногда выглядывали вдалеке верхушки колоколен, указатели скромных могил. Я встал, чтобы увеличить обзор, — все равно ничего. Так, возвышаясь над Лаурой, я все греб в ее сторону, а она все уплывала от меня. Какое-то неуловимое родство ощущалось между нею и прозрачной бледностью неба, что-то женственно-нежное, светлое. Вода податливо расступалась перед лодкой, а позади вспухали и разглаживались борозды, будто фестончатый занавес опускался на сцену. И следа не останется. За следующим поворотом вынырнул ресторанчик. Перевалочный пункт. На берегу стояла одинокая мышастая лошадь с длинной гривой и, верно, мечтала пуститься вскачь.

— Далеко еще?

— Не знаю.

— Ты не устал?

— Я двужильный.

— Что ты высматриваешь?

— Замок.

Лаура обернулась, обозрела горизонт:

— Никакого замка нет.

— Какой-нибудь да есть. Так не бывает, чтоб Луара да без замков. Но не исключено, что мы

совсем не на Луаре. Сбились с пути, и занесло нас неведомо куда.

Почему-то она не смеялась. Может, я слишком побледнел, слишком яростно греб, стоя посреди лодки в допотопном костюме и шляпе чикагского гангстера.

— Что с тобой, Жак? — спросила она.

— Ничего. Ищу свои имения и замки. Представь себе, я никогда еще не видел своих луарских замков. А больше сюда уже не попаду — слишком близко, — ответил я и продекламировал:

О замки! Весна!
Чья душа без пятна?
О замки! Весна!
Чудесам учусь у счастья,
Каждый ждет его участья[14].

Тут я выпустил весла, сел и обхватил руками голову.

— Против течения! И так всегда, когда чего-то очень хочешь. Нам бы встретиться, когда мне было лет семнадцать, я бы купил тебе порцию мороженого на площади Контрэскарп.

Лаура поднялась и пересела ко мне. Весла болтались с покинутым видом, лодка, медленно

---

[14] Примечания: 14

А. Рембо. Последние стихотворения, XVIII. Перевод А. Ревича.

кружась, влеклась по течению, — старинный вальс дрейфующих челнов.

— Лаура, я хочу умереть, пока не умер как мужчина.

— Пикассо…

— Оставьте меня в покое с вашими Пикассо и Пабло Казальсом, они были на тридцать лет старше, а в этом возрасте гораздо легче умереть от старости. И кто вообще говорил о смерти? Я говорю только о том, как бы умереть поживее.

Я чувствовал капли холодного пота на лбу, и выступил он не от гребли. Я чувствовал, как меня медленно сносит вниз по течению, и Луара была ни при чем.

Он появился незаметно. Должно быть, бесшумно запрыгнул в лодку, выказав обычные для завсегдатаев андалузской корриды силу и проворство. Вот он взялся за весла, гребет легко, размашисто и смотрит мне в глаза, ожидая приказов. Ни наглостью, ни панибратством и не пахнет — я этого не потерпел бы и мигом отослал бы его назад, в туман подсознания. Нет-нет, он весь услужливость, усердие и послушание. Такие, как он, съезжаются сюда издалека, чтоб выполнять за нас черную работу, которой брезгует старая Европа. Сейчас мне ничто не мешает

разглядывать его в упор, и я еще раз убеждаюсь, насколько в нем все инородно, от монголоидных глаз, выступающих скул и впалых азиатских щек до сжатых губ, на которых играют первобытная алчность и необузданные страсти. По моему знаку он поворотом весла направляет лодку к песчаному берегу. Лаура встает, его она не удостоила и взглядом. Я подаю ей руку, помогаю выйти. Руис выпрыгнул первым и ждет нас. Ему известно, как я оплошал, известно про мою нехватку твердости и духа, и он спешит мне на помощь. Белая футболка, черные кожаные штаны. Один бесхитростный, исполненный животного бесстыдства жест — и он в полной готовности. Моя Лаура опускается перед ним на колени, а у меня при виде этого непотребства, подстегнутая омерзением и ненавистью, закипает кровь, она переполняет, распирает все протоки. Я закрываю глаза, чтобы лучше видеть их обоих, и нежно обнимаю Лауру, целую ее в губы, меж тем как Руис под опущенными веками орудует над ней, бессмысленно и оголтело щерясь, — животное не может осквернить или унизить.

Лаура протяжно стонет мне в грудь.

Лодка на мелководье шепталась с волнами. Серыми лохмотьями расползались сумерки.

В камышах стрекотало. Мелькнула последняя стрекоза. Туман. Сердце билось сладко, точно согретое воспоминанием. Стая диких гусей пролетела из детства перед закрытыми глазами. Ничего страшного. Пахнуло дымком — видно, рядом деревня. Лодка радушно раскинула весла. Я подал Лауре руку, помог подняться. У нас еще есть общее будущее.

Глава XII

Труднее всего было перестать думать. Я постоянно устраивал себе испытания, потому что боялся не выдержать. Изводил себя сомнениями, стараясь увериться, что еще все могу, и каждый раз, ложась рядом с Лаурой, тут же чувствовал себя “обязанным” и принимался понукать себя. Мы оба угодили в ловушку, куда загнали нас, с одной стороны, мой ужас перед слишком длинными промежутками, с другой — нежная забота Лауры. Я пару раз говорил ей про свою “предзакатную тревогу”, стараясь, правда, замаскировать признание легкомысленным, шутливым тоном, но она не могла совсем уж ничего не знать о том, что так меня угнетало и о чем ни она, ни я не решались сказать в открытую из страха перед определенностью. Однако до конца понять вещи, которые ей, молодой женщине, казались чем-то таким же простым, как солнце, трава, как голос самой природы, она была не в состоянии, а потому вела безжалостную войну с моей телесной немощью — пыталась лаской доказать мне, что я еще хоть куда, а может, и себя успокоить. Потому

что, боюсь, из-за меня — хоть я совсем этого не хотел! — в ней развилось чувство вины, неуверенности в себе, ущербности, ей стало казаться, будто она недостаточно сексуальна; все это так легко внушить многовековой прислужнице мужчины, а если он уже мужчина лишь условно и ему нужно свалить ответственность с больной головы на здоровую, чтобы спасти свою честь, то такая податливость для него — дар Божий. Так и получилось, что Лаура стала моим верным оруженосцем в безрассудном походе против часовой стрелки.

Скрепя сердце я снова наведался к Трийяку. Старый военный врач приветствовал меня молча, с насупленным видом. Не выпуская изо рта сигару, он пожал мне руку и похлопал по плечу в качестве “моральной поддержки”. Точно так же, вспомнилось мне, наш партизанский эскулап подбадривал ребят, подхвативших дурную болезнь.

— Что, опять боли?

— Нет, я не поэтому… Вы в прошлый раз говорили о курсе уколов. А я еще тогда, кажется, жаловался вам, что с некоторых пор у меня слабеет память…

— Конечно, память, — сказал Трийяк с нажи-

мом, как будто не повторял за мной, а сам мне подсказывал.

— Так вот, теперь стало еще хуже, а мне как раз сейчас нужно быть в форме. Сами знаете, кризис, дела идут скверно.

Он энергично кивнул:

— Да-да, отстрел загнанных лошадей.

— Вы предлагали гормональные инъекции.

— Это может дать хорошие результаты. Но чудес не ждите.

— Я забываю цифры, даты.

— Но у вас, наверное, есть помощник?

Я вытаращил глаза:

— Что-что?

— Привлекайте заместителей, месье. Руководители всегда об этом забывают. Привычка рассчитывать только на свои силы ведет к инфаркту. До настоящих высот человек обычно добирается на шестом десятке, но прибегать к чьей-либо помощи не желает. А это важнее всего. Знаете Хендемана, того, что поглотил всех европейских конкурентов? Так вот, однажды на званом ужине кто-то сказал ему — я слышал своими ушами, — что он недооценивает заслуги своего молодого заместителя Мудара, которому многим обязан. “Согласитесь, что практически

все сделал именно Мудар!” А Хендеман спокойно ответил: “Да, но это я нашел Мудара”. Надо уметь использовать помощников. Ну, давайте-ка сделаем первую инъекцию.

Трийяк встал, я подошел к нему.

— Всего понадобится три укола. Рука немножечко распухнет, под мышкой образуется желвак. Несколько дней воздержитесь от рыбы и морепродуктов.

Он сделал мне укол.

— И сколько времени это действует?

— Как вам сказать… У всех по-разному. Если организм совсем изношен, то… — Доктор пожал плечами, поиграл шприцем. — Ну, а в не очень запущенных случаях — месяца два-три. Часто употреблять это средство нельзя — оно потеряет эффективность.

Он снова сел за стол, нацарапал что-то на бумажке и с улыбкой — сколько же раз в день блистал он этим каламбуром! — произнес:

— Геронтология — наука молодая.

Так я впервые услышал слово “геронтология” применительно к себе.

Доктор протянул мне рецепт:

— Герматокс стимулирует выделение спермы, а гратид улучшает наполняемость сосудов. С

возрастом, никто не знает почему, они хуже снабжаются кровью. И член больше не затвердевает. Как говорят военные, теряет стойкость.

— У меня таких проблем пока нет, — сказал я и спрятал рецепт в карман.

— Браво, месье! Что ж, распоряжайтесь своим состоянием осмотрительно. Всего вам самого приятного, до свидания. Жду вас в четверг.

В четверг я не пришел. Три месяца, полгода — ничтожная отсрочка, ерунда. Считать, отмерять — не надо мне этого. Кроме того, как известно, мужская потенция, даже когда идет на убыль, не затухает неуклонно, непрерывно и окончательно. Бывают ремиссии. И вообще, дело еще не так плохо. Ведь главное, чтоб было хорошо не мне — я получаю удовольствие все реже, — а Лауре. А тут моя замедленная секреция мне же на руку — я могу продержаться достаточно долго, чтобы добиться ласкающего слух и мужское самолюбие “о, вот, вот, вот!”.

Теперь я вызывал Руиса почти каждый раз. Чтобы запустить простейший физиологический механизм, мне требовалось поглядеть закрытыми глазами на этот позор: скотский раж, с которым Руис заставлял Лауру утолять свою похоть, бесил меня, а бешенство разжигало. Я

не позволял ему ни единого нежного жеста. Сцена должна была быть ошеломительно похабной, исключающей любой намек на человеческие чувства между ним и тобою, любимая, — такого я не потерплю! Для меня важнее всего было оставаться хозяином положения. С самого начала я взял с этим представителем низменной наемной силы властный и резкий тон, чтоб никакой мне фамильярности, никакого посягательства с его стороны, и он сразу покорился, потому что понимал: малейшая дерзость или просто непослушание — и ему конец, он снова растворится в толпе безликих нелегальных иммигрантов, которых запросто можно выдворить вон. Каждый раз, прибегая к его услугам, я убеждал себя, что в выражении его лица нет ничего оскорбительного для Лауры и для меня, а главное, что он не смеет подумать обо мне что-нибудь недозволительное. Он всего-навсего прислужник, который помогал нам преодолеть рабскую зависимость от тела и слиться далеко за его пределами, в высоких сферах, недостижимых для вульгарной физиологии. Лаура, само собой, ничего не знала об этих фантазмах. Это были безобидные уловки, на которые, зажмурясь, идет множество мужчин и женщин. Просто я страховался на будущее, мысль о суще-

ствовании — разумеется, чисто теоретическом — такого последнего средства действовала на меня весьма благотворно. Придавала уверенности, отгоняла сомнения и страхи. Но вскоре стало происходить что-то странное: Руис словно пропадал, образ его делался каким-то расплывчатым. Сначала он выходил у меня не столь убедительным, ему не хватало реализма. А потом, несколько раз подряд, и вовсе отказался являться. Я попытался обмануть себя, предположив, что он как профессионал требует платы за свою работу. И что виной всему его насквозь продажная натура — наверное, он научился каким-то подлым способом уклоняться от того, чтобы участвовать в моих фантазмах даром. Расплывался все больше, так что мне приходилось изо всех сил напрягать воображение. На самом же деле мне не хотелось признавать очевидного: того, что это я, я сам, стирал из памяти образ Руиса, подчиняясь приказу подсознания, которое хороводит в запутанных лабиринтах нашего мозга, а все потому, что мне уже не хватало *реализма* и была нужна *реальность.* Я просто не желал этого допустить. Не мог же такой человек, как я, настолько измениться! Вы можете смеяться — ведь на дворе 1975 год! — но я еще имел все те же высокие понятия о Франции, что

и в сороковом, и мне претила мысль, что можно пасть так низко, ради того чтобы хоть как-то перенести бессилие, упадок, немощь и истощение физических ресурсов. Однако же было ясно как день: Руис чего-то ждет от меня или я чего-то жду от него, что, в сущности, одно и то же, и наши отношения достигли точки, после которой должны либо порваться, либо укрепиться. Мне было необходимо подзарядить батарейки фантазии. И вот я стал захаживать в квартал Гут-д'Ор. Не может быть, убеждал я себя, чтоб Руис был незаменим и чтобы мое воображение — а речь только о нем! — не нашло себе пищи на этом огромном парижском рынке цветной наемной силы, среди множества чернокожих и арабов. Я шел по улице среди толпы негров, малайцев, сенегальцев, арабов и усмехался, думая о том, сколь многим наша экономика обязана им всем. И никогда во мне не возникало чувства, будто я подвергаюсь какой-то опасности, — я имею в виду не внешнюю агрессию, а возможность вторжения, попытки разрушить меня изнутри.

Иногда то девица, то парень мне себя предлагали. Но редко. Во мне метр восемьдесят пять росту, а на лице самодовольная ухмылка человека, которому всего хватает. Однажды какой-то тип

положил мне руку на плечо и сказал:

— Оружие нужно? Есть любое. Даже автомат.

Я сказал “спасибо, нет”, но было приятно, что у меня еще такой лихой вид.

Меня подмывало взять Лауру и рвануть куда-нибудь подальше. Как можно дальше от здешних привычек и предрассудков, на край света, где все наши дорожные карты и удобные маршруты ни черта не стоят. Страсть к бегству по воздуху давно описана дотошной психологической наукой и помещена в нужную рубрику, но не думаю, что это мой случай. Нет, для меня все сводилось к тому… как на меня посмотрят. Мне нужно было, чтобы окружающие смотрели на меня как на совсем-совсем чужого и, значит, совершенно непонятного. Что бы я ни сделал, в глазах какого-нибудь пастуха из Мали или индейца с Анд я всегда буду диковинным зверем. И в их суждениях обо мне будет больше недоумения, чем презрительной уверенности.

Но уехать из Франции, не уладив дела, нечего было и думать, и поскольку поездка в далекие края откладывалась, я как-то раз, в конце мая, предложил Лауре пройтись вместе со мной по самому чужеземному кварталу Парижа, о котором она и знать не знала.

Я оставил машину на улице Ланж, и мы пошли пешком в сторону бульвара. На Лауре была прозрачно-желтая блузка, белые джинсы и та же, луарская, шляпа. Очень ясно, вполне в духе парижской весны, вырисовывались бедра и грудь. Мне бы предупредить ее заранее, чтобы оделась по-другому, раз мы идем в Гут-д'Ор. Ведь большая часть трудовых мигрантов, которые тут живут, — мусульмане, а их подход к женскому телу еще настолько предопределен древней традицией, что они не могли не увидеть в таком откровенном наряде вызов или даже приглашение. Но меня уязвило не то, как арабы и негры смотрели на Лауру, а взгляды, которые они бросали на меня и в которых читалась прозорливая насмешка. Эти люди *знали,* отпираться бесполезно.

Я взял Лауру под локоть:

— Пойдем-ка отсюда поскорее.

— А что такое?

— Это оскорбительно.

– *Что?*

Чуть не проговорился!

— Оскорбительно для них. Это расизм. Мы разгуливаем здесь как зеваки.

— Но тогда зачем ты сюда пошел?

— Я не знал, что они уже привыкли.

— Не поняла.

— Ты что, не видишь, как они на тебя смотрят?

— Нет. И вообще, они больше смотрят на тебя.

— Вот именно. Они привыкли.

— Да к чему привыкли? Что происходит, объясни мне, ради всего святого! Что с тобой?

Я остановился:

— Я же сказал: расизм. Знаешь, что это такое?

— Но…

— Расизм — это когда все не считается. Люди не считаются. Когда можешь делать с ними что хочешь, и это не считается, потому что они *не такие, как мы*. Понимаешь? Они *не наши.* Можно обращаться с ними как со скотом, и ничего, не стыдно. Не потеряешь достоинства, не уронишь свою драгоценную честь. Они так не похожи на нас, что можно не стесняться, не бояться *осуждения* — вот в чем дело! Можно нанять их для самых грязных делишек, потому что их суждение о нас все равно что не существует, оно не может нас унизить. Вот это и есть расизм.

Но Лаура уже не слушала меня, а смотрела куда-то поверх моего плеча. Я сжал кулаки и резко обернулся. Вот он. Выходец из Северной Африки. Он неотступно шел за нами с тех пор, как мы вошли в Гут-д'Ор. Вернее, шел *за мной.*

Не сводя с меня глаз и не переставая улыбаться. Он предлагал нам свои услуги. *Моя трахать для тебя твой жена. Моя иметь большой член. А твоя смотреть. Моя все делай за тебя, как твоя хотеть. Твоя искать, кто будет трахать твой жена, — бери моя, моя знать и уметь!* То есть он-то молчал. Это я, Жак Ренье, наговорил всю эту мерзость про себя. Я, а не этот стройный парень лет тридцати, с поджарым, обтянутым узкими джинсами задом, в красно-желтой шапочке. Он тут у себя дома. *Тут* в смысле во мне. Может, он так зарабатывал. Не на женщинах. А на мужьях. Эксплуатация приезжих пролетарских элементов порой принимает довольно любопытные для этих элементов формы. А стоит им привыкнуть к эксплуатации, как они начнут извлекать из нее пользу. Эксплуатировать эксплуататоров.

Вдруг кто-то дружелюбно похлопал меня по плечу:

— Ну, ну, месье, успокойтесь!

Это вмешался здоровенный, добродушного вида негр, нагулявший добрую сотню килограммов от хорошей жизни. Он, видно, и теперь неплохо пообедал в ресторане. Все к лучшему в этом лучшем из миров, — говорила его физиономия.

— Садитесь-ка скорей в мое такси. Не станете

же вы драться при даме.

Я посадил в машину Лауру и обернулся. Парень лениво прислонился к стенке и все так же улыбался.

— Не стоит на них обижаться. Неотесанный народ. А у арабов женщину не уважают. Вы турист?

– *Yes*.

— Поезжайте к нам на Мартинику. Вот где вас замечательно примут. У нас там еще сохранились хорошие манеры. Сохранился дух “старой доброй Франции”. Знаете такое выражение?

— Нет. Мы иностранцы. Скандинавы.

— Это значит, все как в былые времена. Ну да, немножко старомодно. На Мартинике еще поют песни восемнадцатого века. Здорово! Куда вас отвезти?

Лаура сидела молча. С полными слез глазами. Она возмущалась моей жестокостью, несправедливостью и ничего не понимала. А это выплескивались наружу злость и презрение, что я испытывал к самому себе, и придавали мне вид брезгливого, оскорбленного в лучших чувствах сноба.

— У нас на Мартинике тоже построили отличные гостиницы. И раз вы ездите по всему свету, месье, загляните и к нам, у нас еще умеют жить!

Я дал ему хорошие чаевые, а напоследок, выходя из машины, наклонился и пропел начало креольской песенки:

— “Ни брошек больше, ни платочков…”

Национально-колоритный таксист разинул рот, я же ушел довольный.

Взрыва было не миновать, это я понимал и все же надеялся, что мы продержимся хотя бы до лифта. Но вот уже которую неделю я с каждым днем все больше отдалялся от Лауры, а нет ничего бесчеловечнее — или, если угодно, нет ничего человечнее, иной раз это одно и то же, — чем требовать от любимой, чтобы она проявляла к тебе больше терпения и снисхождения, чем ты сам. Я протянул руку за ключом и вдруг увидел, как с лица консьержа исчезло всякое выражение, что у гостиничного персонала служит верным признаком глубокого волнения.

Лаура плакала. А вокруг — сплошь дорогие сигары, бриллиантовые кольца и прочие атрибуты непробиваемо-надежных швейцарских банковских сейфов. Нас забросали осуждающими взглядами, как бы желая поставить на вид администрации, что охрана недостаточно бдительна и что твоим слезам, Лаура, место на черной лестнице.

— Что я тебе сделала, Жак? Почему ты стал такой?

— Дорогая моя, дорогая…

Ты зарыдала у меня на груди, и публика отвернулась — так велит хороший тон.

— Пойдем, Лаура, не надо плакать здесь, прибереги все для меня.

— Нет, Жак, скажи! Скажи мне *правду!* Ты стал совсем другим! Как будто ты меня боишься или за что-то сердишься!

— Конечно, я сержусь! Ведь я мог быть так счастлив с тобой, если б только тебя не любил…

— Я хочу знать…

— …а я люблю тебя, люблю и потому… не хочу, чтобы все кончалось.

— Но ты же не умираешь!

— Я не о смерти говорю, а о конце. Полно народу умирает и продолжает дальше жить, цепляясь за любые средства.

— Да, месье, будет сделано, месье, — сказал консьерж, которого я знаю целых тридцать лет, но, кажется, он обращался не ко мне.

— Ты сердит на меня, потому что я слишком молода и это тебя раздражает, поэтому, да?

— Уйдем отсюда, Лаура, вон там японцы, они сейчас достанут фотоаппараты, такая у них ре-

акция на землетрясения. Мне очень неприятно, Жан…

— Мне тоже, месье Ренье. Но что поделаешь! Как сказал Шекспир, приходится смиряться.

— Это сказал Шекспир? — спросила Лаура, вытирая нос.

— Не знаю, мадемуазель, но наша гостиница — одна из лучших в Европе, поэтому тут у нас строго.

Она уже не так сильно ко мне прижималась. Я больше не чувствовал, как колотится, будто у пойманной пташки, ее сердце. Но и не разжимал объятий, чтобы она не подумала, что я ее бросаю. Она заглянула мне в глаза, и такая бездна отчаяния разверзлась в этом взгляде, что не хватало никакого юмора и не за что было уцепиться.

— Ты не ответил, Жак. Что случилось?

— Мои дела идут все хуже.

— Из-за меня?

— Да нет, что за глупости! Все, на что я положил свою жизнь, вот-вот рухнет. Осталось не больше месяца, не знаю даже, смогу ли расплатиться с долгами.

— Я думала, ты собирался все продать и…

— Да, но это не так просто. И потом, я, как все, надеюсь, что вот-вот все наладится. Еще немнож-

ко постараться, поднапрячь воображение. Разве правительство не твердит нам о том же?

Давай-давай, подстегивал я себя. Ври дальше, раз уж начал. В конце концов, правда — лучшее подспорье для лжи.

— Этот чертов кризис пришелся так некстати, и без него уже все приходило в упадок. А теперь и вовсе затрещало по всем швам. Я знаю, конечно, не у меня одного все так плохо. Меняется расстановка сил во всем мире. Но от этого не легче. Сойти со сцены, признать, что ты уже сам от себя не зависишь, поставить крест на всей своей истории, перестать быть собой. Это все равно как если бы мне пришлось с тобой расстаться, потому что я больше тебя не стою.

— Замолчи! Замолчи!

— Не кричи, тут тебе не ночлежка для бедных! Жан, дайте, пожалуйста, ключ.

— Я вам его уже отдал, месье Ренье.

— Мы с Жаном знакомы уже тридцать лет. Точнее, с самого освобождения Парижа.

— Причем тогда, мадемуазель, мы знали друг друга гораздо лучше, потому что были молоды. С годами доля непонятного и непостижимого в каждом из нас возрастает.

— Гёте?

— Гёте, месье. Три звездочки.

— Я тут пытался объяснить мадемуазель де Суза, что хоть кризис взял меня за глотку, но я отказываюсь сдаться. И не зови меня “месье”.

— Хорошо, полковник. А арабов вы еще не привлекали?

Я посмотрел на Жана с подозрением:

— Как это понимать?

— Ну, вы не пробовали связаться с арабами?

— С чего бы мне…

— У них скопилось много средств.

— Нет, я имею дело с немцами или американцами. Но все еще стараюсь продержаться своими силами. К тому же конъюнктура на рынке может измениться. Сейчас Иран набрал на тридцать миллиардов оружия, а потом, глядишь, бросится закупать у меня Монтеня и Рабле. Может, старая Европа и выдохлась, но у нас остались сокровища духа, Жан, настоящие сокровища! Пусть истощились наши сырьевые ресурсы, зато другие, интеллектуальные, ресурсы по-прежнему неисчерпаемы!

Я дал Лауре ключ от номера:

— Переоденешься? Мы идем к Виллельмам. Я подожду тебя здесь.

— Я хочу поговорить с тобой, Жак. Но не здесь.

Поговорить *по-настоящему.*

В лифте мы были не одни.

По длинному коридору прошли молча.

Гостиная встретила нас свежими цветами.

— Я знаю, у тебя неприятности.

— А мне бы следовало гнать их прочь, когда я с тобой.

Лаура бросилась в кресло.

— Ты так красиво говоришь, Жак, слишком красиво. Это твоя манера уклоняться.

Белые розы у нее за спиной. Цветы холодной, безупречной белизны лебяжьих перьев. Такой сорт называется “Королева Кристина”. Наверно, в честь Кристины Шведской. Интересно, почему?

— Ты хочешь уйти от меня? — спросила Лаура. — Не бойся сделать мне больно. Я не хочу удерживать тебя, если ты разлюбил. Если все кончено… Так и скажи: все кончено.

Спокойный голос. Грустная улыбка на губах. И ласковые искорки в глазах. Как только сердце у меня не разорвалось!

— Не плачь, Жак, не надо плакать. У нас говорят: что слезы? — вода, да и только.

— Не обращай внимания, дорогая. Это просто переходный возраст. Пубертатный кризис. Обычное дело на шестом десятке.

— Я не первый раз вижу, как ты плачешь. Однажды ночью ты притворялся, будто спишь, а по щекам текли слезы. Но ты улыбался. У тебя очень развито чувство юмора.

— Правда? Наверно, мне было смешно до слез. С закрытыми глазами видишь себя очень ясно, а это зрелище на редкость смехотворное. Ясновидение — мощнейший, хоть и малоизученный источник смеха. Пока прозреешь, обхохочешься. А слепо могут процветать одни цветочки.

— Я наклонилась и вытерла тебе слезы. Осталась одна улыбка.

— Надо было стереть и ее.

— Вдруг ты назвал какое-то имя. Испанское. Не то Руис, не то Луис.

Я похолодел от ужаса:

— Клянусь, я никого с похожим именем не знаю.

— А потом пробормотал: “Нет, ни за что, не хочу”. И снова выступили слезы. Почему?

— Не знаю. Может, приснился дурной сон. Как будто я маленький мальчик, потерялся ночью в лесу, и мне страшно. Так всегда и бывает: если плачет мужчина, значит, где-то в нем заблудился ребенок.

Я крепко прижал тебя к груди, как настоящий

мужчина, которому всегда не хватает женской поддержки и помощи. А неотвязная тревога и желание проверить тут как тут. Но ты удержала мою руку:

— Нет, Жак. Не надо. Лучше просто так.

— Ладно, любимая. Просто так.

Глава XIII

С каждым днем “окончательное решение” — так я называл его про себя — становилось все неотвратимее. Я это понимал и несколько раз уже готов был поговорить с Лаурой. Без Руиса нам не обойтись. Я пытался заменить его тем арабом из Гут-д’Ор, но он был слишком пресным, слишком уличным. Другое дело — мой андалузец. Не исключено, что особую остроту его образу придавал упертый мне в горло нож. Если бы в потемках бессознательного все было так ясно, оно бы не называлось бессознательным. Или я просто не хотел докапываться, почему мое воображение отвергает услуги навязчивого наглеца из Северной Африки. Должно быть, у меня в мозгах засели установки, скорей всего искусственно внедренные, которые не позволяли мне, пусть даже в потаеннейших фантазиях, эксплуатировать труд негров и арабов, — идейно-политическое целомудрие смешивалось тут с памятью о колониализме, алжирской войне и подкреплялось убеждением, что такое “сексуальное рабство” — чистой воды расизм. Я все еще

заботился о внутреннем лоске и берег либеральные ценности. Или же все наоборот: возможно, мне претило принимать помощь от одного из тех, кто в конечном счете нас победил, кого в глубине души я признавал нашими историческими преемниками и потому не мог не испытывать ревности; возможно, в выборе заместителя таким вот любопытным образом сказалась та тревога, которую наш дряхлый Запад волей-неволей ощущает, наблюдая мощный подъем прежде подвластных ей народов. Мне нужен был Руис. Дело не в том, что он “из наших”, а в том, что жители Гранады и Кордовы первыми из европейцев, еще десять веков тому назад, пережили завоевание пришельцев. Так что в жилах у Руиса давно текла мавританская кровь. И наконец, еще одна, довольно неожиданная причина сыграла свою роль в моем выборе. Не знаю, вправду ли испанец был таков, каким я мысленно видел его в объятиях Лауры, или у меня разыгралось воображение, но только я страшно жалел, что это не мое лицо и тело, а прежде ничего подобного со мною не случалось. И если бы мне предложили “перевоплотиться”, я выбрал бы именно эту плотскую модель. Первобытная дикость самым невероятным образом сочеталась в Руисе с трепетной

утонченностью, и в каждой черте его грубая сила идеально уравновешивалась чувственностью. Вот он, носитель новой красоты грядущей расы, застигнутый в броске, с хищно нацеленным мне в горло ножом в руке и ужасом в лице, который выдавал наивную незащищенность и, вопреки свирепо перекошенному рту и насупленным черным бровям, подчеркивал, до чего же он юн.

Снова и снова бродил я по улочкам Гут-д'Ор. Пытался внушить себе, что просто хочу развеяться, сменить обстановку, но безуспешно — слишком уж я за последнее время понаторел в самопознании. На самом деле я искал Руиса. Не для того, конечно, чтобы предложить ему поступить ко мне на службу — столь радикальное решение вопроса потребовало бы от Лауры неимоверной преданности, сговорчивости и полного презрения к физическому, животному аспекту любви, а на это не способна такая молоденькая женщина, пока еще прочно связанная принципами, запретами и предрассудками общества, которое так и не освоило свободной любви вне секса. Да я и недостоин такого подвига любви и самоотречения. Тогда я порешил для себя, разумеется в шутку, что хожу в Гут-д'Ор для подзаправки и мелкого ремонта износившейся, выдохшейся

фантазии и делаю это в преддверии заката, “мирного часа, когда старые львы идут на водопой”[15]. Именно там, в толпе алжирцев и уроженцев Черной Африки, в которых так нуждалась одряхлевшая Европа, у меня было больше всего шансов встретить Руиса.

Но он никак не встречался. Время от времени, случалось, промелькнет кто-то похожий на него лицом или телом, со статью молодого зверя или хватающим за горло холодным, хищным взглядом — и во мне всколыхнется какое-то томление, предвкушение, жажда дойти до конца, но то были лишь обманчивые, краткие проблески. Однако и они меня обнадеживали: благодаря миллионам людей, которых мы привлекли, чтобы они нас обслуживали, выполняли за нас грязную работу, освобождали от грубого, изнурительного и низменно примитивного физического труда, открывалось такое обилие возможностей, что потопить в этом океане нерастраченной энергии воспоминание об андалузце и подобрать ему замену представлялось не особенно трудным делом.

Я не сдавался. Иногда под разными предлогами

---

[15] Примечания: 15

Несколько измененная цитата из стихотворения Виктора Гюго “Спящий Вооз”.

заглядывал к Менгару. Прочел книгу Штейна “Расы и фантазмы”, купил права на нее и попросил Менгара написать предисловие. Полчаса, проведенные в обществе этого ироничного старца, который ухитрился заключить со временем джентльменский договор о мирном сосуществовании, действовали на меня весьма благотворно. Однажды, когда мы обсуждали то самое предисловие, он сказал:

— Штейн верно замечает, что европейцы часто обращаются в своих сексуальных фантазмах к арабам и неграм. Но крайне сомнительно, хотя мы мало что об этом знаем, чтобы и те, в свою очередь, доходили в разгуле фантазии до того, чтобы отдавать своих женщин белым. Вам не кажется, что это о чем-то говорит?

Я выдержал взгляд хлипкого, полупрозрачного профессора, большого знатока зловонных закоулков человеческой души, не дрогнув. Хотел ли он предостеречь меня или размышлял вслух о власти над миром? Ведь по сути именно в этом все дело: в стремлении во что бы то ни стало, любыми средствами сохранить свои позиции и в нежелании признать, что ничто не вечно, никому не дано пережить свое время и рано или поздно каждому правителю, как он ни противься,

придется уступить место преемнику. На лице христианина-нечестивца играла улыбка, и я не мог понять, что она выражает: тривиальную "бренность всего земного" или накопившуюся за долгую жизнь горькую, смиренную умудренность побежденного, скромную дань несбывшимся начинаниям.

— А как ваши дела? — спросил он.

Я пожал плечами:

— Со мной такое не впервые: однажды, в пятьдесят шестом году, я уже был на грани полного краха, но мне удалось привлечь иностранный капитал, и я выкарабкался.

Иногда я становился раздражительным с Лаурой и тут же видел в ее глазах умоляющее выражение, немой вопрос — этот взгляд переворачивал мне душу. Я ловил себя на том, что начинаю злиться на нее за то, что она не такая, как другие: сколько попадалось мне "удобных" женщин, которых так легко удовлетворить даже мужчине не в лучшей форме, и все благодаря счастливой физиологической детали — наружной чувствительности. Известная самозащита усыхающего мужского достоинства!

Казалось, Руис совершенно стерся в моей памяти и место в воображении наконец освободилось.

Требовался кто-то другой на эту вакансию. И все же меня не оставляло смутное чувство, почти уверенность, что человек с ножом к горлу тоже ищет и ждет меня, что мы еще обязательно встретимся, нужен только посредник.

Лили Марлен, подумал я тогда. И, улыбаясь, откинувшись на спинку кресла, стал следить за кольцами дыма от сигареты, которые поднимались к потолку и медленно, как давние воспоминания, растворялись в воздухе…

Глава XIV

Чтобы найти адрес и номер телефона, мне пришлось долго рыться в старых записных книжках. Еще один дружеский след, оставшийся на обочине жизненного пути. Прошло уж больше тридцати лет…

Лили была одним из самых ценных моих агентов во время оккупации. Шестнадцатилетней девчонкой она пошла на панель, сначала промышляла на улице Синь в районе рынка Ле-Аль, потом поступила в “заведение” — дешевый бордель на улице Фурси: такса — четыре с половиной франка за услугу плюс пятьдесят сантимов за мыло и полотенце. Перед дверями всегда стояла толпа — с полсотни, а то и сто человек безработных дожидались своей очереди. Постепенно дела Лили пошли в гору: к сорок второму году она, этакая белокурая красотка, уже работала у Дорианы на улице Прованс, 122, и стоила пятьдесят франков. Завербовал ее Куззен, можно сказать, с того света: он был ее сердечным другом, и когда его замучили в гестапо, она сама нас отыскала. По-настоящему ее звали Лили Пишон, но в то вре-

мя немецкие солдаты, которых гнали на смерть в Россию или в африканскую пустыню, распевали грустную песенку “Лили Марлен”, они-то и дали ей прозвище, которое она потом оправдала сполна. Лили Марлен работала в барах и ночных ресторанах, и она не только собирала и передавала нашим информацию, но еще и приглашала офицеров СС и гестаповцев “к себе” — мы специально снимали ей комнаты — и, когда клиент укладывался на нее, вонзала ему со спины прямо в сердце длинную шляпную булавку, которую всегда носила при себе. Я никогда не мог до конца понять: из ненависти к немцам или ко всему мужскому полу она это делала.

Позвонить ей я решился не сразу, долго топтался у телефонной будки — прежде чем отправиться в путь, откуда нет возврата, поневоле призадумаешься у билетной кассы. Кроме того, мы не виделись с Лили пятнадцать лет, и я опасался, вдруг она уже не такая железная, как прежде, и начнет меня жалеть. Впрочем, вряд ли можно ждать жалости от женщины, которая прошла через руки не одной тысячи мужчин. Я не собирался просить ее найти мне Руиса или кого-нибудь вместо него. Нет, я просто хотел… подойти поближе к сути. Взглянуть правде в лицо. Я машинально

щелкал зажигалкой, высекал и гасил огонь, и тут на помощь мне пришел пустячок, легкая осечка: я в очередной раз нажал на колесико, но пламя не вспыхнуло. Искорка, другая — и все.

Я остановил такси и назвал адрес. Это оказалось на Монмартре, в квартале Сите-Мальзерб. Я просмотрел имена на почтовых ящиках. Мадам Лили — второй этаж, дверь слева. Туда я и пошел.

Открыла сама Лили, и я сразу узнал ее, не пришлось сверять искореженные временем черты с хранящимся в памяти оригиналом. Она ничуть не постарела, разве что кожа слегка увяла. Впрочем, черты лица у Лили всегда были довольно резкими. А старость куда безжалостнее к женщинам нежным. Аляповатый грим, слишком густо наложены тени на веки и тушь на ресницы, но это профессиональное. Клиентам нравится такая многообещающая откровенность в хозяйке борделя.

Лили держала на руках белого пуделька.

— Заходите, — сказала она.

И запнулась.

— Не может быть! — В ее бледно-голубых глазах отразилось почтение к моим былым боевым заслугам.

Мы символически, как посетители дорогих

ресторанов, чмокнули друг друга в щеку.

— Вы совсем не изменились.

— Вы тоже.

— Как хорошо, что вы зашли.

Взгляд ее стал внимательным. Внимательным — и только, ни капли любопытства. Эту женщину давно уже ничем не удивишь.

— Я часто тебя вспоминаю… Лили Марлен.

Она засмеялась:

— Меня давно уже никто так не зовет.

Она провела меня в тесную розовую гостиную без окон.

— Ты бы сначала позвонил — я приняла бы тебя дома, у меня чудесная квартира. А здесь работа. Прости, я только скажу девочкам: если кто придет, пусть открывают сами.

На столе стоял букет искусственных цветов и валялись порножурналы с драными страницами. Я сел в красное плюшевое кресло. Мне стало хорошо и спокойно: здесь был другой мир — мир, где милосердно врачуют плотские немощи. Это не может осквернить святыню. Наверно, душа у меня все-таки истинно христианская.

Лили вернулась, все с тем же пуделько м под мышкой, и села на диван напротив меня. Песик расположился у нее на коленях. Лили машиналь-

но гладила его и молча, пристально, почти не мигая, смотрела на меня своими голубыми, блестящими фарфоровым блеском глазами. Может, ей слишком туго подтянули кожу на лице? Я молчал — забыл, зачем пришел. То ли что-то узнать у Лили, то ли просить ее кого-то мне найти или застраховать меня от самого себя. Но, разумеется, держал улыбку на лице, так что по мне ничего не было заметно. И вдруг на лбу у меня выступил пот, стало нечем дышать.

— Тебе нехорошо?

— Сердце. У меня слишком крепкое сердце. Никак, понимаешь ли, не может вовремя остановиться.

Руки в карманах плаща тоже вспотели.

— Мы столько времени не виделись…

— Как живешь, Лили Марлен?

— Да ничего, не жалуюсь. У меня все в порядке. Вот только иногда терпения не хватает — видно, слишком долго я занимаюсь этим ремеслом. Приходят, например, мужчины, усаживаются в кресло и давай трепаться — спрашивается, зачем? О детях, о работе. О чем угодно. Они уже ничего толком не могут и приходят сюда окунуться в атмосферу, вспомнить о прошлом, поплакать на своей могилке. Услышат через стенку, как

журчит вода в биде, и им мерещится, что они опять молодцом. Только время у меня отнимают, а выставить их не могу — иной раз это солидные люди с положением. А то еще иногда просят черт знает что — найди им заместителей. Ну, знаешь, чтобы кто-нибудь справлялся с этим делом за них, а они бы смотрели.

Я удивленно покачал головой:

— Ну и ну! И что, такие находятся?

— У меня целый список. Тут не каждый подойдет, парни нужны надежные, чтоб не было потом скандалов, вроде истории с этим Марковичем[16]. После нее я не имею дела с югославами.

— И где же ты таких откапываешь?

— Рекомендуют девочки. А у тебя как дела?

— Все хорошо.

Лили по-прежнему глядела на меня и гладила пуделя. Потом отстранила его и спросила:

— Тебе что-нибудь нужно?

— Да нет, спасибо. Просто захотелось тебя повидать.

Надо было еще немного посидеть, чтобы мой

---

[16] Примечания: 16

Имеется в виду серб Стефан Маркович (1937–1968), телохранитель киноактера Алена Делона. В связи с убийством Марковича были распространены оскорбительные слухи, порочившие супругу Жоржа Помпиду, бывшего в то время премьер-министром Франции.

уход не выглядел как бегство. Лили молча меня разглядывала. От такого взгляда ничего не скроешь.

— Смотри, если тебе что-то нужно… что угодно — не важно!

Она улыбнулась:

— Есть вещи, которые не забываются.

— Да, Лили Марлен, прошлое не забывается.

— Прошлое… и будущее. Иногда они неплохо сочетаются.

Теперь я встал, как будто сказал все, что хотел:

— Может, кое о чем я тебя и попрошу.

— Давай, полковник! Ты всегда был отличным малым, и если я опять могу тебе пригодиться… Говори, не стесняйся!

Лили ждала, что я отвечу.

— Не беспокойся. Я не собираюсь просить у тебя… как это?.. заместителя. Во всяком случае, пока.

Мы оба весело рассмеялись.

— Но возможно, мне понадобится твоя помощь, Лили Марлен, в одном трудном деле — боюсь, одному мне с ним не справиться. Вот тогда и попрошу… помнишь, как когда-то. Не спрашивай, что за дело, может, все еще и обойдется.

— Я никогда ни о чем не спрашиваю. Когда

решишься…

— Вот именно. Когда решусь. Сейчас я счастлив, и это ужасно мешает.

Лили снова гладила пуделя. Она без конца его гладила. Может, гладить собачку — это ее манера умывать руки?

От Лили я вышел таким счастливым, как будто мне уже удалось избавиться от самого себя. Я знал: если кто-нибудь на свете способен сделать такую милость — как говорится, в память обо мне, точнее, в память о том, кем я когда-то был, — так это именно она, женщина, которая тридцать лет тому назад сказала: “Мужчины приходят ко мне, чтобы сделать *пшшик!* Делают *пшшик!* и уходят. Мужчине много не нужно”. И я был уверен: когда настанет час, она, не задумываясь, поможет мне сделать *пшик!* Вот оно, окончательное решение.

Я отправился к Лауре, пребывая в полном ладу с собой и в состоянии такой безмятежности, какой давно не испытывал. Не осталось и следа от тягостной внутренней невнятицы, от смутных, неведомо откуда набегающих мыслей и чувств, которые засоряют душу своими экскрементами, ими же и питаясь, и терзают вас до тех пор, пока не превратят в безвольное, ко всему безучастное существо. Теперь я был застрахован от самого

себя.

Лаура металась по комнате среди разбросанных по полу книг и пластинок, и ее буйная ярость изливалась в воплях и жестах, напоминающих одновременно о Древней Греции, неаполитанских улочках и трущобах Рио, — я не звонил ей со вчерашнего дня! Прервать ее значило бы лишить себя огромного удовольствия. Все народные песни в общем похожи, но у нас, в Европе, в этом пении больше слов, чем чувств. Я восхищенно слушал.

— Я торчала в гостинице и все ждала, ждала!

Ее бразильский акцент проявлялся сильнее в особо счастливые или горестные минуты.

— Я даже не оделась и целый день слушала бразильскую музыку — убеждала себя, что у меня еще осталось что-то свое и я могу обойтись без тебя. Прочитала половину “Архипелага ГУЛАГа”, так что знай: ты три часа провел в сибирском лагере. На каждой странице я видела тебя за колючей проволокой. Ты умолял меня сжалиться, но напрасно. О, если б ты знал, как тебе было плохо! Ты сволочь — французы, кажется, говорят “порядочная сволочь”, для них ведь порядочность прежде всего! — и чтоб ты это прочувствовал и устыдился, я послала тебе цветы. А если это еще

раз произойдется, я уложиваю чемоданы. Да-да, уложиваю чемоданы и еду вслед за тобой. Не смей гладить меня по головке, не нужны мне твои сю-сю-сю, сто раз говорила — в отцы ты мне не сгодишься, у меня уже есть папа с мамой, спасибо! Иди ты на хрен, на хрен! Сукин ты сын, сукин сын! Что-нибудь это, наверно, да значит, даже по-французски!

— Лаура…

— Не ври! И вообще молчи, когда мне плохо! Знаешь, в чем трагедия Франции? Ее трагедия в том, что она оказала такое сильное влияние на весь мир. Влияла-влияла на всех подряд, а на себя ничего не осталось. Извлиялась вконец. Вот и в любви все всё у нее взяли — и что осталось? Миттеранк и новый франк!

— Старые раны и наши бараны…

— Все, на что вы, французы, сегодня способны, — это ввезти еще пять миллионов иностранной рабочей силы, чтобы она влияла вместо вас.

Она расхаживала взад-вперед босиком, в голубом пеньюаре, и волосы ее вздыбливались все больше, как обычно, когда она злилась. Но я слишком хорошо знал и слишком любил ее. А потому понимал: она вовсе не злится, она в отчаянии и изо всех сил старается скопировать

сама себя, чтобы и мне внушить, что все идет как обычно. И сам я тоже сейчас заговорю как обычно, как будто ничего не изменилось, все может продолжаться по-прежнему и мы опять заживем счастливо и весело. Когда она наконец остановилась передо мной, с полными слез глазами и опрокинутым лицом, на котором застыла такая беспомощность и потерянность, что срочно требовались поисковые вертолеты, сигналы SOS, призывающие все суда сворачивать с курса и спешить в зону бедствия, чрезвычайное положение и ободряющее послание главы государства, я уже знал: мы начали играть в самих себя.

— Где ты был, Жак?

— Я весь день думал о тебе.

— Вместо того чтобы прийти? Мы что теперь, ударимся в садо-мазо?

— Я побился сам с собой об заклад, сидел в кафе и старался не думать о тебе. Но не сумел, проиграл пять тысяч франков и оставил их официанту. А он посмотрел на меня недоверчиво — не привык брать в долг у богатых. Тогда я сказал ему: “Я ее люблю и жить без нее не могу”. И знаешь, что сделал этот извлиявшийся француз? Он прослезился и вернул мне легкие деньги со словами: “Офигеть! Благодарю вас, месье, приятно созна-

вать, что такое еще есть на свете!”

— Опять врешь, брехун!

— Ну, может, все было не совсем так, пять тысяч есть пять тысяч, но клянусь тебе, это правда, я вижу это именно так, и мне даже не пришлось ничего платить.

Мы все еще были вместе, но уже искали встречи.

Глава XV

Мне остается еще несколько дней бега против часовой стрелки, который я затеял. Эту тетрадь я положу в конверт, запечатаю его и запру в сейф в рабочем кабинете, чтобы ты, Жан-Пьер, нашел и вскрыл его, “как нам велит обычай древний”[17]. Сразу предупреждаю, что кончать жизнь самоубийством никогда не собирался по простой причине, понятной любому малому и среднему бизнесмену, испытывающему экономические трудности: потому что в этом случае не выплатят страховку. Я еще тянул на четыреста миллионов, и было бы глупо ухлопать их пулей в лоб.

А тебе, Лаура, я хотел сказать вот что: я боялся тебя потерять и достоин жалости ровно настолько, сколько любви было в этом чувстве, но то был и страх за свою собственность, и тут меня жалеть не стоит. Страх, который проступает на каждой странице этих записок. Даже мое отношение к сыну продиктовано им — я не желал сойти со сцены и цеплялся за него как за свое продолжение.

Убедившись, что фантазии больше не помога-

---

[17] Примечания: 17

Ж. Расин, “Гофолия”, акт 1, сцена 1.

ют, я попытался бросить Лауру. Мне показалось, что Жан-Пьер смотрит на нее вполне дружелюбно, а может, и неравнодушен к ней. А он ведь так похож на меня: ни за что никому не уступит ни пяди, это у нас фамильное. Мне часто говорили: “Он копия вы, только на тридцать лет моложе”. И вот как-то раз я пригласил Лауру и Жан-Пьера пообедать втроем у меня дома. Удаче надо дать удачную возможность. Она иной раз любит, чтобы с ней позаигрывали, чтобы ей подмигнули, чтоб чуть-чуть подтолкнули, и может клюнуть на живую выдумку. Я зашел в тупик с самим собой и с Руисом и уже решил сдаться, как только судьба пошлет благоприятный знак. Поэтому и ждал, не встретятся ли вдруг Лаура с Жан-Пьером взглядом, не возникнет ли между ними особое, чуть смущенное молчание, будто бы оба впервые увидели друг друга, и не прервут ли они его поспешно, пока оно не стало чересчур красноречивым. Не знаю, что бы я сделал, если бы пару недель спустя Лаура мне сказала: “Ты должен знать, Жак. Мы с Жан-Пьером любим друг друга”. Думаю, оказался бы на высоте и не упустил прекрасную возможность блеснуть изящной иронией, благородством и стать столь безупречным покинутым, что у тех, кто меня покидает, разби-

лись бы сердца. Впрочем, не исключено, что на самом деле я просто испытывал Лауру — ведь, чтобы зайти так далеко, как я уже готов был зайти, хотя и гнал эту мысль, мне надо было убедиться, что она действительно предана мне бесконечно. Но Лаура держалась с Жан-Пьером так спокойно и непринужденно, с такой безучастной любезностью, что я и у себя поймал чувство, которым заражены все поголовно (ведь великие комики — редкость на наших экранах, вот и сам Чарли Чаплин охотно записался в благородные[18]), и потому не грех в нем признаться: решил, что Лаура, видно, считает Жан-Пьера слишком молодым и предпочитает, чтобы рядом с ней был зрелый, солидный человек, который опытной рукой вел бы ее по жизни. Умереть со смеху!

— Что это ты там хихикаешь? — спросила Лаура.

— У моего отца щекотливые отношения с самим собой, — сказал Жан-Пьер.

— Да я тут примеривался поженить вас с Жан-Пьером.

— О господи, какой кошмар!

— Спасибо, Лаура, как мило! — поблагодарил

[18] Примечания: 18

В 1975 г. английская королева Елизавета II присвоила Чарли Чаплину титул баронета.

Жан-Пьер.

— Когда боишься проиграть, играешь на опережение, — сказал я и снова принялся за рыбу.

— Еще одна особенность этого господина, — сказал Жан-Пьер. — Он полагает, что существует искусство проигрывать, которое называется юмор. И часто это выражается в том, что он отказывается от победы из страха перед поражением.

— Не говорите мне, что во Франции тоже делят людей на победителей и проигравших. Я думала, только в Америке.

— Лаура — само очарование, папа. Но она создана для веселья, для счастья, для радости. А все это, сам понимаешь, не то, на чем можно построить семью.

— Молодой человек начинает язвить, — сказала Лаура.

— Я как-то прочитал в газете частное объявление такого вот содержания: “Ищу спутницу жизни, хорошо владеющую бухгалтерией, а также вопросами планирования, отчетности и управления предприятием”.

— Это совсем не ново, — сказал я. — Так думали веками.

— В таком случае, может, уже пора перестать? — сказала Лаура.

— Скажем, для молодой женщины мужчина моего возраста может рассматриваться как неудачное вложение капитала. Не слишком надежно, нерентабельно и никакой перспективы.

Лаура встала:

— Раз вы заговорили о делах, не буду вам мешать. — Она старалась улыбнуться, но голос ее дрожал. — Пойду почитаю Карла Маркса. Пока. До свидания, Жан-Пьер.

— Полистай еще “Одномерного человека” Маркузе и Антонио Грамши, — сказал я. — Это на той же полке.

Я закрыл глаза. Сто лет тишины.

— Меня это, конечно, не касается, — сказал Жан-Пьер, — но зачем ты вот так…

— Ладно. Ничего страшного. Прости. Так что там у нас?

— Я просидел два часа с адвокатом Кляйндинста. Он изменил условия. Вот я все вкратце для тебя записал.

Он вынул из папки сложенный листок и развернул — всего несколько строчек. Конспектирует мой сын виртуозно. Я пробежал глазами цифры и положил в карман свой смертный приговор. Жан-Пьер посмотрел на меня:

— Ну?

— Я подумаю.

— Но ты же не станешь это подписывать? Даже если сдавать все в утиль, твой бизнес стоит как минимум вдвое дороже!

— Не уверен.

— Как! А земля в Нанте, здания, машины, склады! Да он берет тебя за горло.

— Он просто хорошо осведомлен. Мерзко, конечно. Но умереть красиво не всегда получается.

— Мы можем продержаться до октября. А там, глядишь, расклад изменится.

— Не изменится, Жан-Пьер. Для нас уже не изменится. Белых ворон прогоняют из стаи. Фуркад официально заявил, что выживут сильнейшие. И он прав. Только они способны идти в бой. Настало время гигантов мирового масштаба, время жестокой борьбы за рынки. Европа должна показать всю свою мощь. Это, конечно, чушь, потому что все наши источники энергии и почти все сырьевые ресурсы — процентов восемьдесят с лишним, то есть все жизнетворные соки, без которых мы бессильны, — находятся не в наших недрах, а далеко за океаном, в странах столь молодых, что мы и названий-то их еще толком не знаем. Но мы продолжаем “делать вид” и кричать о своей “независимости”. Блеф, трюки иллюзиониста!

Как-то летом я включил радио и попал на интервью Жобера по “Европе-1”. Журналист ему говорит: “Но вы же были в это время министром иностранных дел!” А он отвечает: “Простите, я был *иллюзионистом* на посту министра иностранных дел!” Хорошенькое признание, а?

Жан-Пьер не сводил с меня глаз. Знаю я эту его манеру: вроде бы внимательно слушает, что я говорю, а сам старается определить, насколько все это психологически “достоверно”.

— Я не могу тягаться с международными магнатами. И не вижу другого выхода, кроме как принять предложение Кляйндинста. Иначе через три месяца мы угодим под внешнее управление и наши акции выкупят по франку за штуку. Есть еще кое-что, о чем ты не упомянул в своей записке. Но не потому, что забыл. Нет, это из деликатности, ты постеснялся включить в расчеты мой страховой полис. А это четыреста миллионов для тебя и твоей матери.

Я встал:

— Столько стоит моя шкура, если сдать в утиль.

Я проводил Жан-Пьера и пошел в библиотеку. Лаура только что ушла — в пепельнице догорала недокуренная сигарета. Я потушил ее. Рядом на

столе лежал листок, на котором ее пляшущим почерком было написано:

Все знаю. Понимаю. И что разговорами не поможешь — слова ничего не решают. Но, боже мой, что с нами будет, Жак? Не хочу терять тебя еще и из-за… материальной, что ли, стороны. Ах да — физической, это одно и то же! Догадываюсь, что для тебя тут затронуты вопросы чести, страдает твоя гордость, достоинство, но я, клянусь, не понимаю, что все это может значить в настоящей любви. Я хочу и дальше быть счастливой с тобой. Да я не о счастливой жизни! Я о счастье любви. Не бросай меня, Жак, ради картинки, ради того, чтобы остаться таким, каким ты хочешь себя видеть. Это непристойно. Не говори со мной об этом письме. И обо всех этих вещах. Я хочу, чтобы мы были выше…

Я бегом сбежал по лестнице и вскочил в такси. В гостинице Лауры не оказалось. Я объехал все бразильские ночные ресторанчики, куда она иногда заходила, чтобы “хлебнуть” музыки своей родины. И нашел ее в “Панго” — она сидела за столиком в темном углу и слушала, как плачут клавиши под пальцами чернокожего пианиста. Ничего не говоря, я сел рядом с ней. И взял ее за

руку, чтобы слова онемели. Так мы сидели и молчали под музыку, пока не рассвело. Все должно с чего-то начинаться.

Наверно, мы могли бы отвоевать себе еще несколько месяцев, и, может быть, у меня даже хватило бы любви и силы оставить тебя, Лаура, не вмешайся случай. Случай, судьба, ирония судьбы — называй как угодно ту мелкую монету, что осталась нам от греческих богов, или те разрушительные механизмы, которые, как каждый знает, настигают нас, не целясь, — откуда возьмутся цели и замыслы там, где никого нет и где до нас никому нет дела.

Глава XVI

Я бессовестно откладывал визит к Виллельмам с недели на неделю. Анри Виллельм вел дела с Индонезией и несколько раз приглашал меня компаньоном на очень выгодных условиях, тянуть и дальше было бы страшно невежливо. Лаура не захотела идти со мной. “От этих людей, как выражаются французы, и солнце сдохнет”. Не знаю, как и где именно прижилось в Бразилии это “французское выражение”, но в Сен-Жермен-ан-Лэ я отправился один. Имение простиралось на несколько гектаров, а дом, принадлежавший прежде герцогу Стенфордскому, находился в глубине парка. У крыльца и по аллеям уже стояло десятка три автомобилей, так что я не нашел, где припарковаться. Я объехал дом и поставил свой “ягуар” сзади, рядом с легковушками прислуги и фургончиками поставщиков. Идти назад к парадному входу не хотелось, и я зашел с черного. Проходя по коридору мимо кухонь, я увидел с правой стороны раздевалку и там, на одной из вешалок, заметил кожаную шоферскую куртку. И тут же узнал ее — по заткнутым под ремешок на

правом плече перчаткам с хищно растопыренными пальцами. Сердце мое с юношеской резвостью забилось в груди, — чтобы унять его, пришлось прибегнуть к самой сокрушительной улыбке. Тут висело еще много другой одежды — видимо, ее оставили те, кто были наняты в лакеи на этот вечер и переоделись здесь в черные брюки и белые смокинги. Быстро, как вор, я огляделся по сторонам — никого, все двери закрыты. Перчатки на плече выдавали владельца на все сто. Ну уж на этот раз, подумал я, мы познакомимся как следует. Я подошел поближе и стал рыться в карманах куртки. Искомое нашлось в зеленом бумажнике из кожзаменителя: испанский паспорт, вид на жительство и водительские права на имя Антонио Монтойи. На фото он, Руис. Я сунул документы себе в карман и пошел дальше по коридору.

В гостиной, обставленной в стиле Людовика XV, было пусто — кто же в такую погоду захочет сидеть в помещении. Гости разбрелись по зеленым лужайкам, официанты в белых смокингах, переходя от группы к группе, без устали предлагали напитки и закуски, с настойчивостью и важностью, которые на короткое время делали их значительными персонами. Я надел очки, хотя

сомневался, что увижу Руиса среди них. Не его стиль. Он, скорее всего, обчищал ящики по всему дому. Да мне и не важно было, тут он или нет. Имя и адрес лежали у меня в кармане. Теперь он у меня в руках. Как-никак, он грозился убить меня и не сдержал обещания — только часы украл. Поглядеть на него — дикий гунн, а на деле — мелкий жулик. Теперь придется нам расквитаться.

Я поздоровался с миссис Виллельм, побеседовал с ее супругом, обменялся дежурными любезностями со знакомыми гостями, отвертелся от разговора о политике…

— Это вы, Ренье, а я вас три дня разыскиваю!

Я узнал не столько голос, сколько акцент — Джим Дули. Он прекрасно смотрелся на фоне свежей зелени — загорелое лицо, кудри римского императора, торс атлета под расстегнутым воротом, а рядом с ним — “божественное создание”, как стало принято выражаться, с тех пор как слово “богиня” стараниями Дюма-сына потеряло убор из орхидей и пышных перьев. Кажется, какая-то звезда, я тщетно силился опознать ее. Лицо словно сошедшее с рекламного щита, но с чем оно связано: с кино, с чем-то съедобным или с кремом от морщин — я никак не мог вспомнить.

— Вы, конечно, знаете…

Имени Дули не назвал — такая знаменитость в представлении не нуждалась.

— Да-да, конечно…

— Мы встречались в прошлом году в Каннах, — сказала девушка.

Правда, я не был в Каннах уже много лет, но какая разница.

Джим Дули обнимал ее за талию.

— Это моя невеста, — сказал он.

— О! Поздравляю!

Дули взял бокал оранжада с возникшего перед нами подноса.

— Я больше не пью, — объяснил он мне. — Приходится выбирать, дружище, ты меня понимаешь! За двумя зайцами погонишься… С возрастом спиртное начинает плохо влиять на потенцию.

— Ну, вам-то, мистер Дули, опасаться нечего, — сказала его спутница.

— Алкоголь — страшное дело, дорогая! Или бухать, или трахаться — одно из двух, — сказал Дули.

Я зажмурился — коробили не слова, а выговор!

— Поэтому лично я предпочитаю отказаться от выпивки.

Похоже, он совсем забыл, как откровенничал со мной в “Гритти”. Вот уж поистине “врет, как

дышит”. Хотя Дули затем и врал, чтобы дышать. Чтобы жить. И только наполненные страхом глаза кричали правду.

— Простите, *darling*[19], нам надо обсудить кое-какие дела.

— Разумеется! До свидания, месье…

Она замялась.

— Ренье, — подсказал я.

— Очень приятно.

Она протянула мне руку, на минутку задержалась в эффектной позе — открытое голубое платье, берет, розовое боа — и, чуть откинувшись назад всем корпусом, уперев руку в бедро, ушла. Дули мрачно смотрел ей вслед, потом повернулся ко мне и спросил:

— Что это за шлюха?

— Но… ведь это, кажется, ваша невеста?

— Какая, к черту, невеста! Это я просто так говорю, по привычке, чтобы творить добро.

— Послушайте, Дули, где вы выучились французскому?

— В Париже, в лицее Жансон-де-Сайи, а что? Он так ужасен?

— Да нет, наоборот! Но при вашем акценте…

---

[19] Примечания: 19
Дорогая *(англ.).*

— Ну, приятель, всего не ухватишь! Надо же что-нибудь оставить и самим французам.

К нам снова подошла та самая девица:

— Вы не подбросите меня на обратном пути, Джим, а то я отпустила свою машину?

Дули окинул ее жестким, тяжелым взглядом:

— Скажи-ка, милая… Вот мой друг не верит, что прошлой ночью мы с тобой перепихнулись три раза подряд. Это правда, или я хвастаю?

Девица растерялась, покраснела, но потом героически улыбнулась и сказала:

— Правда.

— Отлично! Спасибо. Выручила. А сюда ты как приехала? Наверно, кто-нибудь из слуг привез, чтоб ты тут завела полезные знакомства?

У бедняжки выступили на глазах слезы. Она стояла как побитая — довести девушку до такого состояния способны только старые хрычи.

— Говори, не бойся, моя крошка. Ничего страшного. Каждый пробивается как может. Мы никому не скажем.

— Ладно, Дули, оставьте!

— Поймите, она хочет выбиться из своего класса и затесаться в другой, вот что самое паскудное!

— Да хватит, Дули!

Но он в самом деле бросил пить. И это, видимо,

ему давалось нелегко.

— Мне кажется, — сказал я ему, — мы долго тешили себя иллюзиями. Ни “рабочий класс”, ни орды варваров с Востока не положат конец нашим бедам. Не стоит рассчитывать на постороннюю помощь. Придется попотеть самим. Устроить, например, военный переворот?

– *French talk*[20], — фыркнул Дули.

Девица достала из сумочки носовой платок и аккуратно, чтобы не испортить макияж, промокнула глаза.

— Мой приятель работает в ресторане, где заказывали блюда для этого вечера, и… Он предложил взять меня с собой. Я так часто видела ваши фотографии в газетах, месье Дули… С Мариной Пуньи…

Голос ее дрожал. Она ведь так старалась — накрасилась, причесалась и нарядилась по всем рекламным канонам. Ужасно несправедливо!

— Приятель доставил сюда заказ, ну и…

Дули что-то искал в бумажнике.

— Мне не надо ваших денег, месье Дули, — сказала гордая француженка.

— Я даю тебе только визитку. Понятно, интерес

---

[20] Примечания: 20
Французская болтовня *(англ.)*.

у тебя не меркантильный, а социальный. Ты не потаскуха. Хочешь — приходи ко мне. Тебя как зовут?

— Маривонна.

Дули обнял ее за плечи:

— Не вешай нос, Маривонна! Все мы боремся за место под солнцем. Это называется — продвижение по общественной лестнице. Приходи ко мне. Я тебе помогу. А теперь, детка, иди!

Девушка просияла:

— О, спасибо, спасибо, месье Дули!

— И когда обращаешься к людям по имени, не прибавляй “месье” и “мадам”. Так говорят плебеи.

— Да? А я и не знала.

— Да, это сразу выдает твое происхождение.

Дули долго смотрел вслед Маривонне поверх бокала с оранжадом.

— Вы не находите, Ренье, что индустрия готовой одежды пробила изрядную брешь в классовых перегородках?

Я хмыкнул.

— Ну, а у вас положение по-прежнему дерьмовое?

— Не знаю, что лично вы, Дули, называете дерьмовым положением. Дерьмо — понятие

субъективное, как на чей вкус.

— Почему вы не соглашаетесь на предложение Кляйндинста? Он предлагает семьсот миллионов и восемь тысяч акций СОПАРа. Это недурно.

— А почему вас так интересуют мои дела?

Дули подмигнул:

— Из-за Сопротивления и Омаха-Бич.

– *Cut out the shit*[21]. Так почему же?

— Потому что я хочу, чтобы вы продали фирму Кляйндинсту и получили восемь тысяч его акций.

— Он изменил условия — теперь он предлагает только сто пятьдесят миллионов и те же восемь тысяч акций. Это неприемлемо.

— Соглашайтесь!

— Я знаю, Джим, что вы весьма сильны и сведущи… в деловом плане…

— Я чересчур разговорился тогда, в Венеции, — усмехнулся Дули. — Продавайте. А я обещаю заплатить вам разницу между тем, что дает Кляйндинст, и стоимостью ваших акций по самому высокому курсу семьдесят четвертого года. По самому высокому! А с тех пор они упали на шестьдесят восемь процентов. Это формальное

---

[21] Примечания: 21
Хватит чушь пороть! *(англ.)*

предложение. Но вы в обмен уступите мне все восемь тысяч акций Кляйндинста.

Я начал понимать.

— И никому ни слова, дружище! Даже вашему сыну.

— Восьми тысяч акций вам будет довольно, чтобы наложить руку на СОПАР?

— Считать я умею. И уже три года, как все рассчитал. Я хочу прикончить Кляйндинста, и я это сделаю.

— Можно спросить почему, или это что-то очень личное?

Он посмотрел на меня сочувственно:

— Не уверен, что вы поймете. Вы слишком… как сказать… малы? В смысле “малый и средний бизнес”, верно?

— Верно.

— Вот Буссак, Флуара, Дассо или Пруво — те бы меня поняли. Это вопрос *могущества*. Знаете такое слово — могущество?

— Во всяком случае, с Кляйндинстом вы друг друга понимаете отлично.

— Да. Мы с ним сшиблись — кто кого пересилит, кто мощнее. Если хотите, могу вам быстренько объяснить, что из всего этого получится.

— Спасибо, и я так отлично представляю, Джим-

ми, что может из этого получиться.

Дули, бывалый игрок, преспокойно проглотил пилюлю.

— И что же вы хотите?

— Мне нужны солидные гарантии.

— Через неделю вы получите письмо от моего адвоката. Распечатаете, прочтете и запечатаете снова. О'кей?

Я обомлел. А Дули весело блеснул глазами:

— По крайней мере, вы не будете зависеть от иранских закупок — ведь Франция, насколько мне известно, собирается в ближайшее время довести торговый оборот с Ираном до тридцати миллиардов. Веселенькая история!

Он швырнул недопитый бокал с оранжадом под куст олеандра и удалился морской походкой.

А я еще несколько минут не мог прийти в себя. Такая выгодная сделка мне и во сне не снилась. Еще чуть-чуть — и я бы, кажется, возблагодарил Господа Бога, а это высшая честь, которую один делец может воздать другому.

Из приличия я покрутился еще какое-то время среди гостей и уже собирался уходить, как вдруг заметил Руиса. Он шел по лужайке в белом смокинге и нес поднос с пустыми бокалами. При виде этого андалузского зверя, облаченного в

лакейскую ливрею, я испытал безотчетную радость. Быть может, потому, что в таком наряде он становился самым обыкновенным и терял то гипнотическое животное обаяние, которым я сам же его окружил и от которого наконец-то мог освободиться. Ведь это мое воображение наделило его непомерными физическими достоинствами, подняло на недостижимую высоту, на самом же деле ничего подобного, скорее всего, не было и в помине и Руис был полным ничтожеством, такого можно подрядить на что угодно. Я не упускал его из виду — он был в полусотне шагов от меня и направлялся к дому, собирая по пути пустые бокалы, — бешеное желание избавиться от него боролось во мне со страхом его потерять.

Он вошел в гостиную. А я тихонько подобрался к застекленной двери и заглянул внутрь.

Руис потрошил дамские сумочки, лежавшие на диване и на креслах. Неожиданно для самого себя я обернулся и стал выглядывать, не идет ли кто-нибудь из гостей или слуг по лужайке к дому. То есть, получается, стоял на стреме. Такую заботливость, конечно, трудно понять, но мы с Руисом в некотором смысле играли заодно, и он был нужен мне на свободе. Пока что я довольствовался в этой игре той ролью, которая мне еще

была по силам, на большее мне не хватало то ли храбрости, то ли честности.

В то же время я еле сдерживал желание испугать его. Он мог бы от страха выхватить нож и, если повезет… Жизнь — не всегда удачное решение. Но я уже знал, что у него так же мало общего с нашими завоевателями и ордами варваров, как у его лакейского смокинга. Жалкая шушера — вот что такое Руис, такой пойдет на любое паскудство, ничем не побрезгует. Мне вспомнилось, как тогда, у нас в номере, он пролепетал *si, señor*, после того как я велел ему уйти по черной лестнице. Туда он проник, нарядившись шофером, а сюда явился под видом официанта и давай шарить по сумочкам.

Нет, не стану выдавать своего присутствия. Пусть лучше все будет как есть: я знаю, что он в моей власти, а он понятия не имеет о самом моем существовании.

В соседней комнате послышались голоса, Руис рванулся к двери и настороженно замер. Я видел его в профиль. И вдруг у меня промелькнула странная мысль: ведь то, что такой красавец мужчина пробавляется мелким воровством, говорит скорее о его относительной честности. Он мог бы зарабатывать гораздо больше другим способом.

Мне стало не по себе и как-то неприятно: такая щепетильность вовсе не подходила для моих фантазий.

Руис осторожно положил на софу последнюю выпотрошенную сумочку и бесшумно выскользнул в коридор. Сейчас он наденет свою шоферскую куртку и спокойно смоется. Я же остался стоять где стоял, прислонившись к стенке. Его документы у меня в кармане.

Я попрощался с хозяевами и поехал в Париж. Сидел за рулем и насвистывал. Встреча с Дули и его предложение спасали меня. Надо только поскорее уточнить все детали. И Руиса я выкинул из головы. Скорее доехать до Лауры и сказать ей, что все мои проблемы наконец решились.

Глава XVII

Однако как я ни спешил, но прежде заехал в контору сказать Жан-Пьеру о своем решении. Очень хотелось разом со всем покончить. Не слышать больше разговоров о “конъюнктуре”. И главное, перестать постоянно выискивать какие-то полулегальные ходы, какие-то хитрости, увертки, комбинации и пожарные меры. Отныне я смогу как праздный зритель наблюдать за корчами дряхлеющей Европы и не задумываться о том, насколько я завишу от арабов, от иранского шаха, от Киссинджера или Иди Амина.

Я оставил машину на тротуаре улицы Фридланд и поднялся в контору. Брата, к счастью, не оказалось — меня мутило от его манеры пружинисто ходить вокруг меня с видом курильщика, который окончательно решил: с завтрашнего дня ни затяжки.

Я вошел в кабинет Жан-Пьера. Он сидел над раскрытой папкой с бумагами. Меня поразило выражение глубокой усталости на его еще молодом лице. Он поднял голову и посмотрел на меня через роговые очки — опасливо, с недоверием,

какое организованные люди питают ко всему непредсказуемому.

— Жан-Пьер, мы принимаем предложение.

Он побледнел. Лицо у него вытянулось и словно мгновенно постарело, так что моя копия вплотную приблизилась к оригиналу. И даже жесткость, промелькнувшая в глазах сына, показалась мне знакомой, в ней ясно читалось, что он обо мне думает.

— Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, — сказал он.

Я почувствовал, как у меня сами собой сжались зубы. Еще полгода тому назад Жан-Пьер не посмел бы так ответить. Мне вдруг представился молодой Ширак, который оттеснил Шабан-Дельмаса, фронтовика, человека моего поколения, и встал у руля СДР[22], выставив вон старых голлистов. Мой сын на двадцать пять лет моложе меня, но в любовных делах ему, думаю, и сегодня до меня далеко. Горечь, обида застали меня врасплох и захлестнули так быстро, с такой внезапной силой, что я не сразу с собой справился.

— Поверь мне на слово, я прошу всего несколько дней. Хотя… двадцать четыре процента акций

---

[22] Примечания: 22

СДР — партия “Союз демократов за республику”.

твои, без твоей подписи не обойтись. Можешь отказаться.

— Перестань. Как будто ты меня не знаешь… — Жан-Пьер снял очки, откинулся на спинку кресла и, помолчав, сказал: — Вот что, отец, ты волен губить сам себя, раз тебе так хочется…

— Ты о Лауре?

— Разумеется, нет. Это твое личное дело. Я говорю о фирме. О матери, обо мне, о всех нас.

— Вы получите мою страховку, подписанную совместно тремя компаниями. Это входит в контракт, и Кляйндинст обязан его выполнять. Когда я умру, вам выплатят четыреста миллионов.

— А на что мы будем жить до тех пор?

— Придется потерпеть.

Он пожал плечами.

А я сказал, еле сдерживая злость — вот уж не ожидал от себя:

— Кляйндинст еще нахлебается дерьма, и очень скоро, можешь не сомневаться.

Жан-Пьер захлопнул папку:

— Хорошо. Завтра еду во Франкфурт.

Я наклонился и положил руку ему на плечо:

— Разве ты не понимаешь, что я бы никогда не оставил вас с матерью нищими?

Жан-Пьер опустил глаза, как будто ему стало

неловко. Точно такой же вид бывал у него раньше, когда мы с Франсуазой начинали слишком резко разговаривать при нем. А потом его губы тронула улыбка, в которой я узнал себя.

— Оба уха и хвост[23], — сказал он.

— Что-что?

— Ты должен уйти с арены победителем, и никак иначе.

Он посмотрел на меня, на этот раз тепло и даже нежно. Впрочем, он не так глуп, чтобы порицать меня и чего-то требовать, притом что рентабельность нашей компании составляет четырнадцать процентов, а ставка по кредитам — двадцать четыре.

— Не понял.

— Все ты понял! Вечная мания: не уронить престиж! Могу я говорить с тобой… по-братски?

Я принес с комода бутылку виски, пару рюмок и присел на край письменного стола.

— Валяй. Я уже и так настолько осведомлен о себе, что тошно, чуть больше, чуть меньше — роли не играет. Все равно в наше время хоть чего-то не знать о себе невозможно. Насквозь все видно. Люди только и делают, что читают Фрейда

---

[23] Примечания: 23
Имеется в виду высший трофей корриды.

с Марксом, а в промежутках изучают свое “я”. Но если ты считаешь, что сообщишь мне что-то новенькое…

— Оставим лучше этот разговор, — сказал Жан-Пьер.

— …Например, растолкуешь, что если я стараюсь обеспечить будущее тебе и твоей матери, то это забота не о тех, кого я люблю, а о собственном престиже. Так?

— Почти, но одно другого не исключает. Ты чувствуешь себя сильным, когда кому-то помогаешь, кого-то защищаешь…

— …феодальные такие чувства. Защита всего, что меня окружает. Моих личных владений. Я защищаю свой замок и своих людей. Вы — часть моей территории. И если бы мне пришлось умирать, не оставив вам ни шиша, я бы считал, что умираю побежденным. А мужская гордость велит покидать арену с триумфом. Унося, как ты сказал, оба уха и хвост. *Fiesta brava!* Вот уж полвека, как мы на Западе ужасно озабочены своим мужским достоинством и силой, а между тем такая озабоченность есть верный признак приближающейся мужской слабости. Ты, как всегда, очень правильно рассуждаешь, Жан-Пьер.

— Заметь, это не я, а ты сам рассуждаешь.

Я воззвал к нему взглядом, но помощи не дождался. Тогда я поставил рюмку и подошел к окну. Было еще светло.

— Ну ладно, в общем, объясни все Жерару.

— Постараюсь, — сказал Жан-Пьер.

Я вышел. По дороге к Лауре остановился на Елисейских Полях и купил пластинок на всю ночь.

Глава XVIII

Я постучался и вошел. Никого.

— Лаура?

Она сидела в спальне в синем кресле, вся заплаканная. В глазах такая скорбь, такое бедствие и ужас, что я застыл, боясь пошевельнуться — все так хрупко!

— Милая… Что-нибудь случилось?

Она покачала головой, жалобно улыбнулась и сказала тоненьким голоском:

— Да нет, просто бывают такие дни…

Постель не убрана. Лаура в пеньюаре. Шторы плотно задернуты.

— Ты никуда не выходила?

— Без тебя Париж совсем чужой.

На полу стояли открытые чемоданы. Лаура покидала в них какие-то вещи. Я положил пластинки и сел. Но плащ и шляпу снимать не стал — мне важно было сохранить благоприятную среду. А я всегда отлично ладил со своей одеждой, со своей защитной оболочкой. Не отказался бы и от добротной кожи.

Шкафы стояли нараспашку, ящики выдви-

нуты.

— Я даже заказала билет на самолет.

Меня как обухом хватило. Но уже через мгновение я вскочил и позвонил консьержу:

— Жан, аннулируйте заказ на авиабилет до Рио.

— Хорошо, месье. А заказ на следующий рейс?

— На следующий?

— Ну да. Мадемуазель де Суза заказала один билет для себя, а другой для вас, на следующий рейс.

Я положил трубку, посмотрел на Лауру. И все слова, лишившиеся дара речи, рвались наружу в этом взгляде. Давно я не бывал так счастлив, как в этой тишине. Я встал перед тобою на колени, ты опустила голову мне на плечо и обняла; и я шептал тебе слова любви, помолодевшие, как будто бы они недавно родились и с ними ничего еще не приключилось. В зашторенной спальне ничего не различить, кроме вкуса твоих губ. Ты повернулась, угнездила голову, как скрипку, на моем плече, и каждое твое движение опустошает и томит мои ладони; чем крепче я тебя сжимаю, тем больше боюсь потерять.

— Я хотела уехать сразу, чтобы было не так больно, но ты ведь бросился бы мне вдогонку, вот

я и заказала тебе билет на следующий самолет.

…Будь у меня дочка, я, может, знал бы, как выпутаться…

Поздно ночью я вернулся домой. Руис не пожелал явиться. Я надел халат, сел в кресло. Мне было не до сна.

До сих пор не могу объяснить, почему все это время я пребывал в уверенности, что сам распоряжаюсь всем происходящим. За всю ту бессонную ночь я ни на миг не почувствовал, что теряю волю, впадаю в состояние, которое тысячу раз описано в разных исповедях классическими формулами вроде: “меня влекла… или толкала… непреодолимая сила…” Напротив, я никогда не ощущал такой уверенности в себе. Я сознательно шел навстречу опасности.

В девять утра я оделся и приготовился. Открыл ящик стола и вытащил из-под кучи бумаг свой старый кольт. Тридцать лет я благоговейно хранил его как память.

Глава XIX

Дом 72 по улице Карн с одного бока был наполовину снесен, а другим примыкал к дешевой гостинице, вернее, меблированным комнатам под вывеской “Для иностранцев”. Я и забыл, что в Париже есть такие густонаселенные места. На асфальте играли дети, внешне все как один типичные алжирцы и будущие дворники. Из окон доносилась арабская музыка, рыдающая над своей судьбой. И среди этих, так не похожих на меня людей мне почему-то вдруг стало очень легко. Тут я не у себя, а у них, и это не так страшно. На меня не так смотрели и обо мне не так судили, как на улице Фезандри. Я был тут посторонним, а потому не чувствовал себя таким чужим, как среди своих.

Я и сам толком не знал, для чего отправился к Руису. Хоть я и написал, что сознательно иду навстречу опасности, принимаю реальность, но не мог бы точно сказать, зачем мне это надо: чтобы избавиться от наваждения, освободиться раз и навсегда, одним нажатием на курок, от гнета все более и более настойчивой фантазии или,

наоборот, напитать ее из первоисточника.

Коридор первого этажа упирался в мусорные баки. Рядом у стены стояла пустая канареечная клетка. Я дошел до застекленной двери с серой фланелевой занавеской, почти в конце коридора по левой стороне, и постучал.

В ответ женский голос:

— Что такое?

— Мне нужен Антонио Руис.

— Кто?

Я почему-то привязался к этому имени — Руис.

— Здесь таких нет.

— Он потерял документы. А я нашел и принес их.

Дверь приоткрылась. Показалось женское лицо с написанной на нем обидой на жизнь, скопившейся за пять десятков лет. Я протянул этой особе водительские права. Она взглянула на фотографию:

— Это Монтойя. А не… как вы там сказали?

Я спрятал права в карман и сказал:

— У них там в Испании часто бывает по несколько имен.

— К Монтойе — это вам на пятый этаж.

— А комната?

— Рядом с туалетом.

Я стал подниматься по лестнице. На каждом этаже было по три номера. А на пятом всего один, в самом конце коридора. Я отступил на несколько ступенек вниз и прислонился спиной к стене. Закурил сигарету. Я тянул время. Хотел сполна насладиться этой короткой прелюдией, игрой, учащенным биением сердца в груди. Это самое приятное время. Самое приятное всегда бывает ДО…

Наконец я раздавил окурок и снова пошел вперед, как вдруг услышал, что открывается дверь. Шаги… Я приготовился взбежать по последним ступенькам и захватить Руиса врасплох. Сунул руку в карман и стиснул рукоятку револьвера.

Но шаги оборвались, опять открылась и закрылась дверь, на этот раз другая. Я заглянул в коридор: последняя так и осталась открытой. Руис пошел в туалет.

Я бесшумно прошел по коридору и скользнул в его комнату.

Это была мансарда с окошком на задней стене. Слева, за белой пластиковой занавеской, душевая кабина. В углу неубранная постель с грязным бельем. Штук пять радиоприемников, скорее всего вытащенных из автомобилей. Вешалки с кожаной курткой и горчичного цвета костюмом

висели на гвоздях. Над кроватью кнопками приколоты картинки с голыми девицами и афиша Эль Кордобеса. А в изножье кровати, у окошка, стояло зеленое виниловое кресло.

В него я и сел.

От меня до двери было метра четыре, не больше, но я сидел так неподвижно, что вошедший Руис, полуголый, в кожаных черных штанах, не сразу понял, что в комнате кто-то есть. И только закрыв за собой дверь, увидел меня. Реакция его была быстрой и резкой — как налетчик я ему в подметки не годился. Ничуть не удивившись, он в мгновение ока прыгнул на меня, уже с ножом в руке. Я едва успел заметить, как он выхватил его из кармана на голени.

Но я уже направил на него свой кольт.

Он застыл, остановился на лету — такому сила тяжести не помеха. Теперь он стоял в двух метрах от меня на полусогнутых ногах, с растопыренными руками и ножом на изготовку, губы его дрожали, расширенные глаза упирались в револьверное дуло.

Я держал палец на спусковом крючке. Лицо полыхало жаром.

Я смотрел на него. И лишь в эту минуту, разглядывая это тело, дышащее упругой силой, которую

я с возрастом утратил, я понял наконец цель моей вылазки: я пришел вернуть свое добро. Тот инструмент, который мне принадлежал и хорошо служил и которого я потом лишился, — пришел забрать его обратно, показать, что я его хозяин, и заставить снова мне подчиняться.

Руис попятился.

– *No, señor, no!* — хрипло простонал он. — *No!*[24]

Он выронил нож и вскинул руки.

В разрезе глаз и широких скулах угадывалось что-то от гипотетических монгольских предков. Так он из тех, из наших завоевателей. Но в приоткрытых дрожащих губах ни следа прежней твердости; страх — фактор цивилизующий.

На запястье у него были надеты украденные у меня золотые часы.

Я посмотрел на них. Только тогда он меня узнал. И отступил еще на шаг.

– *No me haga daño, señor!*[25]

— Испанский мы с тобой поучим в другой раз, — сказал я.

Он снял часы, нагнулся и пустил их по полу в

---

[24] Примечания: 24
Нет, сеньор, нет! ... Нет! *(исп.)*

[25] Примечания: 25
Не трогайте меня, сеньор! *(исп.)*

мою сторону:

— Вот возьмите, *señor*... Я остался без работы, мне было нечего есть.

— Ну да, поэтому ты их не продал!

Я внимательно изучал его тело. Сложен он был, надо признать, лучше, чем я. Уже в талии, шире в плечах. Не меньше силы и больше грации в бедрах. Но это тело подходило не борцу, а акробату. Все его нервы, жилы, мышцы дышали такой страстной жаждой жизни, какой я у себя уже и не помнил.

Когда же наконец я выучил его наизусть, то вытащил из кармана и бросил к его ногам водительские права. А паспорт оставил у себя. Он подобрал права и изумленно уставился на меня. Теперь он вовсе ничего не понимал. И превосходно! Это было мне на руку.

Я встал. Достал купюру в пятьсот франков и визитную карточку. Толкнул назад свои часы, а деньги и визитку тоже бросил на пол. И, помахав револьвером, сделал ему знак отойти подальше. Он живо повиновался.

— Отлично, Антонио, привыкай, — сказал я. — Тебе придется слушаться меня.

– *Si, señor*, — прошелестел он в ответ.

Я вышел и захлопнул дверь. Кольт положил в

карман, закурил сигарету. Руки ничуть не дрожали. Я медленно спустился вниз по лестнице и зашагал куда глаза глядят. Я чуть не застрелил Руиса, хотя так и не понял хорошенько, из каких побуждений: потому ли, что хотел от него избавиться, что ненавидел эту его животную энергию, которая захлестывала меня, как неотвратимое будущее, или же потому, что больше не верил в себя и хотел спасти Лауру.

В тот день мы собирались съездить пообедать куда-нибудь за город. Я ворвался к Лауре с триумфом и перепугал ее.

— Что случилось, Жак? У тебя такой вид…

— Я чуть не убил человека.

— Вечно ты гоняешь как сумасшедший.

Я сгреб в гостиной букеты неотступной своры ее поклонников, которые дожидались, пока я сдохну: ирисы, розы, тюльпаны — и выкинул все их в коридор.

— Я хочу быть с тобой наедине. А все эти цветочные угрозы… Еще несколько дней — и все окончательно уладится, я буду свободен, и мы с тобой уедем к черту на кулички!

— А где это?

— Ужасно далеко. Я сам еще не знаю где. Сядем в “ягуар” и покатим все прямо и прямо. Может,

в Турцию… или в Иран.

Я открыл холодильник, налил себе выпить и, стоя к Лауре спиной, сказал:

— Нам понадобится шофер. Я знаю одного бывшего телохранителя из Елисейского дворца, он как раз подойдет. Они там сократили персонал, и он остался без работы. Надежный человек, абсолютно порядочный, ему лет пятьдесят. Надеюсь, он еще свободен. Если же нет… — я опрокинул стакан, — тогда найдем кого-нибудь другого.

— Главное, чтобы был не надоедливый, — сказала Лаура.

Все следующие дни я отправлял Руису деньги по почте, чтоб он не вздумал переехать.

Глава XX

Первые несколько ночей после того, как я хлебнул из первоисточника, воображение мое воспрянуло. В своих фантазмах я распоряжался Руисом на все лады, так изощренно и безраздельно, что казалось, этот ресурс неисчерпаем. И нет предела раболепству, с которым подчинялся мне мой невольно-подневольный живой аккумулятор. Я понимал, конечно, что под этим внешним послушанием кроется злорадная готовность отыграться на господах, и даже обращал ее себе на пользу. Руис заставлял Лауру унижаться перед ним самым похабным образом, использовал ее как сосуд для своей мерзкой спермы и проделывал это с грубостью и ненавистью парии, которому подобной роскоши никогда не выпадало. Всем этим я доводил себя до бешенства, которое разжигало и укрепляло мое вожделение. Но потом, разумеется, произошло то самое, чего я опасался и втайне желал: тот, кто делал за меня грязную работу, стал еще привередливее, чем прежде.

Очень утешительно считать свои личные

неурядицы концом света. Отлично подойдет, например, “упадок западной цивилизации” — на него можно списать что угодно. Для тех же, кто интересуется грузом прошлого, уточню: в 1931 году, когда в Париже состоялась Колониальная выставка, а Франция была империей, чья власть простиралась на народы и богатства Африки и Азии, мне стукнуло семнадцать. И то, что я сейчас скажу, думается, следует понимать не как простую дань иронии, а гораздо глубже, в свете упомянутого исторического наследства: Руис отказывался мне служить и оставлял меня в заведомо беспомощном состоянии не только по причине эксплуатации. И требования его шли даже дальше, чем “реальный контроль над своими ресурсами”. Он желал стать моим хозяином. Поскольку понял, что мне без него не обойтись. Осознал свою силу. Настал его час.

После нового сбоя я бросился на улицу Карн с утра пораньше. Поднялся на пятый этаж и постучал в дверь. Никого. Тогда я зашел в арабское кафе на другой стороне улицы и, заняв позицию у стойки, стал оттуда следить за подъездом. Вокруг — сплошные алжирцы, марокканцы, несколько негров… Я был здесь единственным белым. Полиция могла бы запросто получить мои приметы.

Высокий человек в зеленом плаще американского армейского образца, седоватые волосы ежиком, голубые глаза, шрамы на лбу и на щеке. Он просидел у стойки битый час с непринужденным видом, все время улыбался… А потом вышел, перешел через улицу и скрылся в подъезде дома напротив. Это точно он, убийца.

Я мог бы говорить о законной самозащите. Ведь я и правда защищал свою честь.

Или сказать, что я выследил вора — он украл у меня золотые часы, я явился забрать их, а он схватился за нож, и тогда мне пришлось в него выстрелить.

Все на меня глазели. С полдюжины молодых арабов и несколько негров. Все — выходцы из молодых стран с непочатыми запасами энергии.

Я прождал целый час и наконец увидел, как вернулся Руис, обряженный, без малейшего почтения к животной красоте, в ужасный горчичный костюм. Меня всегда возмущали фотографии — их почему-то называют “забавными” — какого-нибудь тигра, льва и пусть даже собаки, на которых шутки ради нацепили человеческую одежду.

Я снова взобрался на пятый этаж и постучался. Руис открыл и, если не считать внезапной на-

пряженности в глазах и во всем теле, никакого страха или удивления не выказал. Вряд ли он понимал, что именно нас с ним тайно связывает, но уже знал, что я ему плачу хорошие деньги. Я был в его глазах работодателем, таинственным, но щедрым. Я толкнул дверь, он отступил. Я вошел и затворил дверь.

Черные брови перечеркивали гладкий смуглый лоб и врезались у висков в растрепанную блестящую гриву. Впадины щек спускались от широких скул до скважины не знающих одышки губ. Лицо бесстрастное, чуть дерзкое, но взгляд настороженный — я не вытаскивал правой руки из кармана плаща.

А потом показал ему краешек кольта. Сегодня в ход пойдут все средства.

— Снимай-ка живо свой дрянной костюмчик.

Чего доброго, этот нелепый наряд застрянет у меня в памяти и, выскочив во время употребления, все испортит — лишит мое воображение самого сильного стимулятора, образа человеческой особи, еще не отдалившейся от своей исконной природы, не обремененной грузом прошлого и открытой любому будущему.

— Снимай, кому говорю!

Лицо Руиса скривилось было в циничной по-

нимающей гримасе.

— Нет-нет, приятель. Ошибаешься. Это совсем, совсем не то. И не надо тебе понимать. Я плачу, а твое дело слушаться. Ну, пошевеливайся, скидывай скорее эту гадость и надевай свою кожу.

Неотрывно глядя на меня, он переоделся. Кожа ему ужасно шла. Подчеркивала все, что было в нем брутального.

Он встал передо мной, расставив ноги, уперев руки в бедра, в расстегнутой куртке поверх белой футболки.

Я сидел на кровати и жадно смотрел на него. Заправлялся.

Перед уходом я ему оставил тысячу франков.

Он хорошо приручался. Но я хотел увериться в этом и перестал посылать ему деньги.

Прошло несколько дней, и я уж начал думать, что ошибся и что у него не хватит наглости.

В тот вечер Лаура пошла в ресторан с друзьями из Бразилии, которые очутились в Париже проездом, и должна была вернуться около полуночи. В двенадцать с небольшим в дверь позвонили.

На пороге стоял Руис, стоял как вкопанный, засунув руки в карманы кожаной куртки, с тревогой, но и решимостью во взоре. Сначала я подумал, что он нутром учуял, чего я жду от него

и с каким мрачным рвением жажду избавиться от самого себя. Теперь, когда я пишу эти последние страницы и вижу, что попал в ловушку из-за чрезмерной памятливости, у меня нет никаких сомнений: упорно преследуя и провоцируя Руиса, я мечтал, чтобы он оборвал мучительный процесс самоутраты, единым махом обрубив остатки исторических корней.

Но Руису не хватало ни культуры, ни варварства, чтобы понять меня. У нас с ним были разные концы света. И он явился не из братских чувств. А просто за деньгами. Я оставался для него чем-то непостижимым, но это не мешало ему рассчитывать и дальше получать свой куш.

Я впустил его и пошел в гостиную. С минуты на минуту могла вернуться Лаура, и я не знал, хочу или боюсь ее появления.

Отсчитывая деньги из бумажника, я спиной ощущал близость Руиса. Надо отдать ему должное — он инстинктивно принял всю бессловесность наших отношений. Сверлил меня пристальным взглядом, но не допускал на лице никаких выражений — видимо, чувствовал неловкость, очутившись на чужой территории, и не хотел в этом признаться. Деньги он взял с какой-то детской непосредственностью, воспринимая все

как должное:

– *Gracias, señor.*

А дойдя до двери, еще раз взглянул на меня:

– *Adiós, señor.*

Он явно успокоился. Непостижимое по-прежнему к нему благоволило. Правда, паспорт я ему не вернул, но это его, кажется, не волновало. Он был уверен, что мы еще увидимся.

Не успел он уйти, как появилась Лаура. Веселая, разгоряченная, она радостно бросилась мне на шею. А у меня даже не было сил улыбнуться. Не разжимая рук, Лаура слегка отстранилась, чтобы лучше меня разглядеть, и помрачнела:

— Что с тобой? Ты такой бледный.

— Я ждал тебя.

В ту ночь мне приснилось, что опять явился Руис и одним ударом шпаги прикончил мое будущее.

Но он никак не возвращался. Все так же уклонялся и отказывался мне служить. И тогда, не желая признать, что фантазмы не оправдали моих надежд и что на самом деле я морально готовлюсь к тому, чтобы объединить нас троих наяву, я попытался справиться самостоятельно, но моя чересчур истощенная нервная система не выдерживала такой нагрузки.

Прошло несколько ужасных дней. Лаура избегала физической близости. Стоило мне прикоснуться к ней, как глаза ее наполнялись боязливой мольбой — она не хотела, чтобы я опять терпел неудачу. Она удерживала мою руку, нежно сжимала ее, но не отзывалась на ласку. Мы молчали, и это молчание складывалось из недомолвок. Лежа рядом, Лаура стала теперь такой целомудренной и робкой, как будто ей открылось во мне монашеское призвание.

Наконец наступил вечер, когда я набрался мужества не скрывать свое бессилие. Одна моя рука бродила по телу Лауры, другой я осторожно ощупывал самого себя — проверял, идет ли дело на лад. А потом, обцеловывая и обдавая дыханием груди Лауры, бешено работал правой рукой, пытаясь довести себя до кондиции. Кое-что вроде бы стало получаться, и как только я счел, что появилась известная надежда и что, во всяком случае, стоит рискнуть — поскольку ждать большего нет смысла, — то перешел к решительным действиям, предварительно подложив под бедра Лауры подушку, чтобы создать более подходящий для данных обстоятельств угол проникновения: не сверху вниз, а снизу вверх, тогда меньше вероятность, что при недостатке твердости и

малом размахе мое орудие соскользнет и выпадет наружу; и все внимание сосредоточил на его состоянии: малейший спад — и промах обеспечен. Оно только-только перестало сгибаться, поэтому надо было любой ценой сохранить, а лучше — приумножить достигнутое, заручившись всеми гарантиями и даже предусмотрев резервный объем для подстраховки, — что само по себе служит моральной поддержкой и залогом успеха, ибо придает уверенность в себе и своих возможностях. Я неистово, как в лучшие времена, бросался в атаку, добиваясь лишь одного — затвердения. И очень хорошо понимал как то, что меня терзает страх, так и то, что этот страх оказывает парализующее действие. Я все меньше чувствовал живое соприкосновение и все больше — предательскую слабость; пассивность же Лауры доходила до оцепенения, она боялась пошевельнуться, чтобы нечаянно не вытряхнуть меня, мне же, чтобы хоть как-то остаться в ней, пришлось просунуть правую руку ей под бедра и между ног и, подпирая растопыренными пальцами, как костылями, основание дряблого члена, удерживать его внутри. Наконец, сжав зубы, я отчаянно призвал на помощь Руиса, чего не делал прежде, желая доказать себе, что еще

вполне справлюсь и без него. Но поздно, у меня не осталось сил включить воображение.

Лаура все так же лежала, замерев, положив одну руку мне на затылок, а другую — на плечо, и только когда я прекратил бесплодные попытки штурма и окончательно сдался, она изо всех сил прижала меня к себе — и это означало, что она все знает…

— Завтра пойдем играть в крокет, — сказал я.

Лаура изумленно посмотрела на меня, а я понял, что час пробил и от меня теперь потребуется много любви и немного храбрости.

Наутро я ушел очень рано и долго бродил по набережным, не находя себе места от нетерпения. В девять сел в такси и поехал в Сите-Мальзерб. Там еще никого не было, я зашел в бистро на углу улицы Фрошо и стал ждать. Около четверти одиннадцатого пришла Лили, за ней две девушки. Я выждал еще минут десять и вошел.

Открыла сама Лили. Взять на руки пуделя она еще не успела. Утром полный парад ни к чему. Она не поздоровалась, не распахнула дверь и не пригласила меня войти.

— Мне нужна твоя помощь, Лили.

Она смотрела на меня глазами из небьющегося стекла:

— Я знаю.

Я вскинул голову:

— Откуда?

— Так показали карты вчера вечером. Червонный король и пиковый валет. А в середине трефовая дама.

— И что это значит?

— Что кому-то опять понадобилась старая сводница.

— Зачем ты так!

— К Лили Марлен никто не заходит просто по дружбе.

Тут кто-то стал тереться об мои ноги. Лили нагнулась, подняла пуделя, принялась его поглаживать. И снова посмотрела на меня немигающим взором:

— Ты единственный мужчина на свете, которого я уважаю. Жаль, что ты плохо состарился. Остался молодым. Когда мужчины остаются молодыми, они всегда стареют плохо. Но я не могу принять тебя здесь.

— Это очень важно.

— Здесь нельзя. Приходи ко мне домой через два часа и все мне расскажешь. А я пока что сделаю один важный звонок и вызову себе подмену. Вот адрес. — Лили написала его на бумажке. — Не

надо, чтобы тебя тут видели. Хватит и одного раза.

И она закрыла дверь.

Я снова взял такси. Два часа просидел в кафе и почувствовал себя как во времена гестапо и подполья. То есть я не испытывал ни сомнений, ни колебаний, все было ясно и определенно, я твердо знал: действовать надо только так.

В полдень я наконец вышел из кафе и поднялся на второй этаж дома на авеню Клебер. На двери была приколота визитка: мадам Льюис Стоун. В сорок пятом Лили вышла замуж за американского солдата.

Дверь открылась прежде, чем я успел позвонить. Лили, должно быть, поджидала меня, глядя в окно.

— В квартире сейчас прислуга. Заходи.

На стенах гостиной висели фотографии довоенных кинозвезд, на полке стояла миниатюрная модель автомобиля “испано-сюиза”. Тут же были старый граммофон, афиша Иветты Жильбер и портрет Жана Габена в форме легионера. Грезы тридцатых годов…

Вид у Лили Марлен был непроницаемый — ей к конспирации не привыкать, — да и шторы на окнах опущены. Может, я и ошибся, но мне

почудилась насмешливая искорка в ее лице — уж не решила ли она, что я все же не сумел обойтись без грязных уловок. Она села в кресло с жесткой вертикальной спинкой, призывающей к прямоте.

— Ну, рассказывай. На тебя больно смотреть.

— Мне надо избавиться от одного человека.

Рука Лили, ласкавшая собачку, всего на миг застыла на пушистой белой шерстке и снова принялась ее поглаживать.

— Я сейчас объясню…

— Не нужно никаких объяснений. Раз ты меня просишь…

— Я тебя прошу, Лили Марлен.

Она сверлила меня взглядом.

— Только я хочу быть уверенной, что просишь именно ты, а не кто-то другой.

— Я не лгал тебе никогда и не собираюсь начинать сейчас.

— Ты меня не понял. Я хочу быть уверенной, что ты остался собой. Тем, кого я знала.

Я ответил не сразу:

— О том и речь. Я в опасности.

— Шантаж? Ты влип в некрасивую историю с женщинами? Есть фотографии? Я спрашиваю не из любопытства, а чтоб тебе помочь.

— Вопрос в том, чтобы надежно застраховаться.

Она передернула плечами:

— Ну, как хочешь. И кого же надо убрать?

— Меня.

Лили замерла. Но не от удивления. Скорее от дружеского участия.

— Помоги мне, Лили Марлен!

Она молчала и смотрела на меня. А я усматривал в ее глазах куда больше, чем видела она, глядя на меня. То были глаза памяти.

— Когда-то мы пережили вместе лихие времена, — сказала она почти без выражения. Как будто просто пустила по ветру пригоршню соломинок. — Это будет нелегко. Но если ты действительно так хочешь…

— Я уже говорил: мне надо застраховаться от самого себя.

Лили погладила собачку и улыбнулась:

— Знаю. Я в курсе.

Я не понял, о чем она.

— Он приходил ко мне, этот парень. Антонио. Антонио Монтойя, андалузец. Я иногда нанимаю его. Он говорил мне про тебя.

— Но как?..

Меня опять как обухом огрело. Я силился сохра-

нить достойное мужчины выражение лица. Но не смел поднять глаз.

— Ну, ты же дал ему свой адрес, дал денег, а в чем штука, ему известно… Но он поначалу растерялся, не понимал, что происходит. Ты его напугал. Он такой: когда чего-то не понимает, начинает бояться. А поскольку из профессионалов он знает только меня, то, естественно, пришел со мной посоветоваться.

— Я не хочу так жить, — сказал я, — не хочу, и все. Найди мне человека, и поскорее.

— Это приказ? Как раньше?

— Приказ. Как раньше.

Лили встала:

— Посмотри-ка.

Она подошла к столику в углу гостиной, на котором лежала, накрытая стеклянным колпаком, шляпа с широкими полями, раскрашенная, как оса, в черную и желтую полоску.

— Узнаешь?

На тулье с двух сторон торчали концы длинной булавки.

— Вот этой штукой я проткнула двадцать девять гадов. А знаешь, что у меня однажды спросил Мальфар? Тот, кто мне поручал… Спросил, когда я протыкаю их: до, во время или после.

Лили потрепала меня по плечу. Она как-то повеселела.

— Хочешь что-нибудь выпить? Тебе бы сейчас неплохо.

— Найди мне человека, и поскорее, Лили Марлен. У меня всегда было определенное представление о самом себе, некий образ, который мне дорог. Знаешь, в те времена, когда мы воевали в Сопротивлении, я часто думал, ради чего рискую жизнью: ради Франции, ради свободы или ради этого образа. Принеси-ка мне виски.

Я сел.

— И я не намерен преображаться.

Лили налила и протянула мне рюмку.

— Дело чести, — сказал я, пытаясь прикрыться иронией.

— Не говори ерунды. Честь бывает на войне. Теперь же время наслаждаться жизнью. Ничего общего. Но будь спокоен. Все будет сделано.

— Ты кого-нибудь знаешь?

— Разумеется, знаю.

— И кто это?

— Какая разница! Я назову тебе место, день и час. — Она усмехнулась. — Дело нехитрое! И на этот раз, будь уверен, я не стану связываться с каким-нибудь югославом. Но может, лучше

для начала попробовать прикончить андалузца? Вдруг у тебя все пройдет?

— Нет. Он тут ни при чем.

Лили уселась в свое кресло-трон и задумалась, глядя в одну точку.

— Да-а, мужская сила, — проговорила она. — Ты втрескался в девчонку, помешался на ней, а оно вон как — не стои́т!

Она опять смотрела на меня:

— Что ж, это тоже честь…

Я встал.

— Ну и еще наверняка тут замешаны деньги. Они всегда замешаны, когда человек решает, что ему конец. Скажешь, нет?

Я пожал плечами:

— Не без этого. Я почти разорен, но моя жизнь застрахована на четыреста миллионов. Я еще чего-то стою.

— Пустить быка на мясо, — сказала Лили, и в голубом фаянсе ее глаз блеснули теплые дружеские искры.

— Вот-вот. Столько стоит моя шкура. Могу я рассчитывать на тебя, как прежде, Лили Марлен?

— Не волнуйся, я все устрою. Если передумаешь, скажи. Только мне нужно время. Чтоб обошлось без скандала. Ты человек известный, не можешь

просто взять и сгинуть.

— Я не передумаю.

— Знаю. Это я говорю для порядка. Эх, полковник, от тебя еще что-то уцелело.

— Спасибо.

— Скверная штука — старея, оставаться молодым. — Стеклянные глаза ее смеялись. — Я никогда тебе не говорила, что ты мне ужасно нравился?

— Нет. А зря, надо было сказать.

— Смеешься? Полковник и шлюха!

— Ты награждена медалью Сопротивления, Лили Марлен.

— Да-да. Она-то мне и помогла открыть бордель.

Лили проводила меня до двери.

— Ну, пока. Может, ты и правильно делаешь, что отстаиваешь себя. Теперь никто ничего не отстаивает. Всеобщее благоденствие.

Она открыла засов.

— Будь спокоен. Я берусь за дело.

Мне хотелось обнять ее, но ей бы это наверняка не понравилось.

Несколько часов после этого я был совершенно счастлив. Наконец-то меня избавят от самозванца, который занял мое место. Тело перестало

докучать мне, как настырный нищий.

Глава XXI

Целых две недели я никак не мог связаться с Дули. Дважды он назначал мне встречу и дважды отменял ее. Обещанная запечатанная грамота с гарантией выкупа акций так и не пришла. Мне удалось оттянуть подписание договора с немцами, но они торопили меня. Наконец — звонок из Рима: мистер Дули передает свои извинения и спрашивает, не смогу ли я встретиться с ним завтра в шесть часов в баре отеля “Риц”? Я приободрился. Мне страшно хотелось выиграть этот последний бой.

Дули явился прямо-таки юнцом. В спортивной куртке с кожаными нашивками на локтях, в джинсах, белой рубахе с воротом нараспашку, обнажающим мощную шею, и с фонарем под глазом, что особенно его молодило. Мы пожали друг другу руки.

— Что с вами случилось?

— Да вот подрался в Риме. Один подонок свистнул и сделал неприличный жест вслед моей подружке, а я его проучил. Но тут на меня, проклятого американца, накинулась вся улица. А вы

как поживаете?

— Все хорошо.

Он приобнял меня за плечи:

— Ну как, еще держимся?

— И пока неплохо.

— А я, старина, в жизни не трахался так клево, как сейчас. Не так часто, зато подолгу. Стоит целый час.

— Да, — сказал я. — У нас говорят: опыт приходит с годами.

— Как же, знаю такое выражение. С годами, вот именно. Становишься спокойнее, не торопишься, лучше владеешь собой. Держишь штурвал уверенной рукой. Может, я не могу, как прежде, в любое время, зато уж если бываю в ударе, меня не остановишь, ей-богу, и так и этак накувыркаться успеваю.

Вокруг сидели люди, но Дули, видимо заметив мое смущение, подмигнул:

— Э, пустяки, они ничего не слышат, и потом, всем известно, что здешние клиенты даже не помнят, как это делается, тут одно старичье.

— Простите, месье Дули, — к нему наклонился бармен, — но вы забыли про персонал!

Дули расхохотался. Он вовсе не был пьян. Просто он это переносил еще хуже, чем я, потому что

он американец, куда богаче меня и куда больше привык быть чемпионом мира.

— А у вас сколько выходит в среднем? Какая крейсерская скорость?

— Не знаю, Джим, я как-то не веду учет.

— Ладно-ладно, старина, мы свои. Вместе были молодыми. Втыкали будь здоров! Нормандия, Леклерк, Вторая бронетанковая дивизия, освобождение Парижа…

— Послушайте, Дули, я знаю, что некоторые бодрячки на седьмом десятке начинают вести такие же разговоры, как когда-то подростками, но все же…

— Ладно-ладно, не прикидывайтесь! Скажите лучше, на что вы еще годитесь?

Я вспомнил Менгара… А потом подумал: да что там! Кто мне мешает приврать!

— Раза три в неделю. Или четыре, если очень нужно.

У Дули вытянулось лицо. Рука судорожно сжала рюмку с мартини. Он мрачно посмотрел на меня. И я струхнул. Вдруг в нем сработает по отношению ко мне тот же рефлекс уязвленного могущества, что заставляет его давить Кляйндинста, и он безжалостно кинет меня с моими акциями.

Дули выпил.

— Здорово, — буркнул он. — Недурной показатель для нашего возраста. Лучше не бывает.

— Это точно, что не бывает.

Он помолчал, уставившись в пустую рюмку. А я опасливо за ним следил. Боялся, как бы он меня не боднул.

— Перейдем к нашему делу, — сказал он наконец твердым голосом. — Не паникуйте, Ренье. Я слишком хорошо плачу своим адвокатам, вот они и медлят — показывают, какие они важные.

— Я только потому подписываю договор с Кляйндинстом, что полагаюсь на вашу гарантию.

— Вы подписываете, потому что ваше дело швах и нет другого выхода. Но я свое слово сдержу. Разве что вдруг возьму и застрелюсь… — Он хихикнул. — Впрочем, это не в моем стиле. Мой стиль — идти до конца, до самой точки. Так что можете не дрейфить. На днях письмо будет у вас. Ну, я пошел. Меня ждет подружка. Вы чертовски везучий тип. — В чем я такой уж везучий, Дули не уточнил. — Пока! Надо бы почаще видеться. Кстати, знаете, какую плюху я выдал в Болонье? Всем этим забастовщикам и красным городским властям? — Лицо его засияло юношеским, чуть ли

не мальчишеским задором. Даже кудри как будто утратили седину. — Они меня достали со своей политикой, классовой борьбой и глупой болтовней. И я возьми да сколоти компашку: втянул одного принца, парочку маркизов да несколько штук итальянских графинь — пришлось заплатить им будь здоров, чтоб не трусили, — и мы устроили свою демонстрацию. Поставили посреди одной узенькой болонской улочки знаки "дорожные работы" и закатили пикничок с икрой и шампанским прямо на мостовой, фраки, вечерние платья, метрдотель — все честь по чести! Ну и буча тут поднялась! Они давай митинговать против нас. Не расходились всю ночь. Как же, фашистская провокация! А я всего-то и хотел посмешить народ, разрядить обстановку. Но куда там! Ладно, старичок, покедова!

— Чао, Джим. У вас потрясающий французский!

— Стараемся.

Он зашагал к выходу: руки в карманах, корпус вперед, пружинистый шаг олимпийского героя.

Я выпил еще рюмку мартини. А потом пошел в контору и сел напротив Жан-Пьера в кресло для посетителей. Я чувствовал, как набрякло мое лицо, обвисла складками кожа — мускулы

перестали меня слушаться. Жан-Пьер посмотрел на меня. О предложении Дули я ему рассказал неделю назад.

— Что с тобой? Ты ужасно выглядишь.

— На выходе из станций метро висят такие таблички: “Дальше ваш билет недействителен”…

Жан-Пьер молчал, видимо не зная, как поступить: поддержать словами, может быть, даже очень искренними, или предпочесть уважительную мужскую сдержанность, которую я с детства приучал его соблюдать в наших отношениях.

— Лаура?

— Я только что видел Дули. И у меня открылись глаза. На него нельзя полагаться. Это совершеннейший сумасброд. Не просто эксцентричный человек — настоящий больной. Не соображает, что говорит и что делает. Устроил, кажется, дикий скандал в Болонье.

— А ты не знал? Об этом писали во всех газетах.

До меня вдруг дошло, что я уже несколько недель не открывал ни одной газеты.

— Все, Жан-Пьер, я погиб.

Лицо моего сына стало таким жестким, что во мне на миг вспыхнула родительская гордость — я был хорошим отцом! Он усвоил мои уроки и те-

перь отлично подготовлен к жизни. То, что у меня было чем-то внешним, нарочитым, у него вошло в плоть и кровь. Он отшвырнул карандаш:

— Он взял назад свое обещание?

— Да нет. Но это ничего не значит. Он разваливается на куски. Судя по всему, его собственные адвокаты уже не выполняют его распоряжения.

— Но это безумие! Немцы получат фирму почти даром. Что я тебе говорил! Ты и сегодня, даже если пустить все с молотка, стоишь не меньше двух миллиардов, а они и трети этой цены тебе не дают!

— Знаю я, знаю. Но я еще не подписал.

— Поздно. В следующем месяце нам надо выплатить двести миллионов.

— Э, терять все равно уже нечего, так можно хоть что-то урвать из фонда поддержки…

— Ну да, по франку за акцию.

Я посмотрел на него с симпатией. Как это мне знакомо: ярость, горечь, манера злобно огрызаться — все от бессилия.

— Успокойся, Жан-Пьер. Не забывай, вы с матерью получите четыреста миллионов по моей страховке.

— Ох! Давай не будем… Здоровье у тебя, слава богу, крепкое. Ты просто переутомился. Сдали

нервы.

Я слушал его и улыбался. С недавнего времени я стал носить на лацкане ленточки военных наград. Всегда при полном параде.

— Не горюй, Жан-Пьер. Я все устрою.

— Как?

— Устрою. Это вопрос рентабельности, и только. Соотношение затрат и прибыли. Какую прибыль в виде радостей я получаю от жизни и какими муками с ней расплачиваюсь. Надо трезво составить баланс. До сих пор я обходился сам себе в пять миллионов в месяц, зато приносил двести миллионов в год. А сейчас при прежних затратах в пять миллионов не приношу ни гроша, — значит, я в убытке. Даже тело больше не окупает себя, доходов от него в звонкой радости жизни все меньше и меньше. Я стал для себя и для вас с матерью неприбыльным предприятием, как ни погляди.

— Я давно привык к твоему юмору, но сейчас он как-то некстати… Ты прямо из сил выбиваешься.

— Хочешь сказать, выбиваюсь из сил в постели?

— Тьфу, да не знаю я этого и знать не хочу!

— Допустим, я вступил в предзакатную пору, когда сексу придают особенно… отчаянное значе-

ние. Настало время прощания, сын. Когда-нибудь ты испытаешь это на себе. Прощания и признания — это одно и то же.

Жан-Пьер побелел и, не глядя на меня, глухо повторил:

— Говорю тебе, я не хочу этого знать.

Я поднялся. Теперь я поставил точный диагноз своей улыбке: это внешний симптом полной утраты самообладания.

— Не говори ничего Жерару, а то его кондрашка хватит. И сам не вешай носа. Повторяю, я еще стою четыреста миллионов.

Я все смотрел на сына. Я так его люблю… Как любят собственное подобие.

— Растолкуй мне одну вещь, Жан-Пьер. Ты голосуешь за левых. Так как же, не пойму, ты можешь быть против системы и в то же время лезть из кожи вон, чтобы получше вписаться в нее и добиться успеха?

— Лучший способ не зависеть от денег — это иметь их побольше.

— Что ж, моя квартира стоит миллионов сто семьдесят, не меньше. Итого, выходит, я тяну на четыре сотни наличными да сто семьдесят в недвижимости. На эти средства ты еще долго сможешь голосовать за левых. Вот только индек-

сации по курсу золота не предусмотрено. Так что лет через пять я усохну в денежном выражении почти что вдвое. Поэтому надо поскорее освоить капитал, повыгоднее пустить его в оборот.

— Ну, знаешь, в нашем роду, к счастью, живут долго.

— Я же сказал, что все устрою.

— Да что ты несешь? Что все это значит?

— Надо пустить быка на мясо, — сказал я и рассмеялся.

Домой я поехал на метро. А по пути со мной случилась странная штука: мне почудилось, что среди пассажиров я вижу товарищей по Сопротивлению. Кайё, который командовал действиями в Люшоне и окрестностях, Жабена, отвечавшего за всю Вандею. Конечно, это полная чушь — я видел лица молодых людей лет тридцати, им же, моим друзьям, сегодня должно быть на тридцать пять лет больше. А Жабена так и вовсе убили.

Видел я и Лили Марлен. В цветастом платье и огромной шляпе с той самой булавкой. Но это была не она.

Едва войдя в квартиру, я бросился звонить ей:

— Ну что? Ты про меня забыла? Когда это будет?

— Погоди, спешка тут ни к чему. Дай мне еще несколько дней. Я должна быть абсолютно уверена…

— Послушай, Лили Марлен. Послушай внимательно. Ты должна сделать это для меня. Ты ведь все помнишь?

— Помню.

— Знаешь, кто я и кем я был?

— Да-да, не волнуйся.

— Я человек чести, понимаешь?

— Но мир уже не тот, что прежде, пойми это, полковник.

— Плевать. А я меняться не хочу. И не хочу кончать свой век по уши в дерьме.

— Теперь так не говорят. Наши с тобой бывшие боевые друзья тонут не в дерьме, а в недвижимости.

Трубка ненадолго замолчала, а потом опять заговорила ободряющим голосом с легкой насмешкой:

— Не вешай нос, полковник. Я про тебя не забыла. Клянусь, все будет нормально. Уж я-то в таких делах спец.

— Я заживо гнию.

— Не телефонный это разговор, но, можешь мне поверить, все пройдет отлично. Обещаю.

Я положил трубку. У меня вдруг закружилась голова и выступил пот на лбу. И я сообразил, что сутки с лишним ничего не ел. На улице шел дождь, я надел плащ.

Открыл дверь — на пороге стояла она, с букетиком фиалок в руке. В берете и белом дождевике.

Я весь напрягся до предела, но уморить себя одним усилием воли еще никому не удавалось.

— Заходи.

— Нет, я хотела только…

Она разрыдалась и упала мне на грудь. И мне пришлось обнять ее. Зачем, зачем она меня заставила… Любить по милости любимой — вопиющее малодушие.

— Лаура…

— Не начинай, пожалуйста, опять.

— Да все и так яснее ясного.

— Я знаю, Жак, я… понимаю. Но только что из этого? Когда я говорю, что я тебя люблю, так это я не про любовь. Это про то, что без тебя я не могу дышать. А потому — что мне за дело до каких-то… половых вопросов? По-твоему, что, я тебя выбирала? Как в магазине — пересмотрела все, что есть, и взяла самый лучший образчик? Не выбирала я! Полюбила, и всё — ничего не могу с собой сделать. У вас же говорят: “любовь слепа”.

Вслепую не повыбираешь!

Я зарылся лицом в твои волосы. Вот так бы все время и жить, не надо ничего другого.

Мы еще несколько раз попытали счастья. Попытки заключались в том, что мы гуляли, взявшись за руки, мечтали вместе под луной и наслаждались птичьим пением. И даже съездили в Венецию на выходные — старая добрая гондола, что может быть милее для влюбленных!

По возвращении я сразу позвонил Лили Марлен:

— Ну, как?

— Зайди ко мне.

В семь вечера я уже был на авеню Клебер. Лили не повела меня в гостиную, мы разговаривали, стоя в прихожей. Она так расфуфырилась, как будто вернулась в 1930 год и собралась в театр на генеральную репетицию. Длинное вечернее платье в обтяжку, жемчужное ожерелье, диадема с фальшивыми камнями, на шее бархотка, в ушах подрагивают висячие серьги. Волосы обесцвеченно-пережженные, безжизненные — прямое доказательство дремлющего в дамском парикмахере таланта бальзамировщика. Лицо густо набелено, так красятся старухи, которые во что бы то ни стало хотят привлечь к себе внимание,

пусть даже устрашающим видом. А бледно-голубые, точь-в-точь как у фаянсовой собачки, глаза блестели даже в полутьме прихожей и сверлили меня немигающим, многоопытным взглядом.

— Итак, завтра в одиннадцать вечера. Не запирай дверь и не зажигай свет. Тебя убьет грабитель- взломщик.

— Ну-ну! Подходящее время. И я умру в ходе законной самообороны. Что ж, почти так оно и есть. И кто же это будет?

— Не все ли тебе равно? — Она еще сильней поджала губы. — Ты всегда шел до конца.

— На самом деле “до конца” не так уж далеко.

Она смотрела на меня стальным, на все готовым взором.

Весь день я приводил в порядок свои бумаги. Лаура больше не звонила. Я перечитал ее письма.

В шесть часов, как это ни смешно, я сменил рубашку.

И стал ждать. Стараясь ни о чем не думать, чтобы не замараться перед смертью.

Без нескольких минут девять зазвонил телефон. Меня прошиб пот. Я был уверен, что звонит Лили Марлен сказать, что все отменяется. Может, под старость она стала респектабельной.

— Хорошие новости! — Голос Жан-Пьера звенел

от радости. — Ты зря не верил Дули. Он сдержал свое слово. Я получил гарантийное письмо. Считая акции Кляйндинста, мы получаем два с половиной миллиарда. Ты выиграл бой, отец! Как всегда! Оба уха и хвост твои! Алло? Ты тут?

— Да, пока еще тут.

— Я говорю, ты победил!

— Я слышу.

— И это все, что ты на это скажешь?

— Хорошо бы, Жан-Пьер, ты женился на Лауре. Во-первых, она прелесть. А во-вторых, одна из самых богатых наследниц в Бразилии.

— Ты нездоров? — спросил Жан-Пьер уже без прежнего восторга. — О чем ты со мной говоришь?

— Я говорю с собой. У твоей матери было сто миллионов приданого.

— Но вы же любили друг друга?

— Не знаю, я всегда был не дурак потрахаться.

— У тебя депрессия, ты понимаешь?

— Пока, Жан-Пьер. Я тобою горжусь. Ты тоже настоящий борец. Весь в отца. Это у нас семейное — мы все не пальцем деланные.

— Хочешь, я к тебе приеду?

— Спасибо, не надо. Все хорошо. Когда станешь премьер-министром, не забудь создать

госкомитет по мужскому вопросу. Это более чем насущно.

И я повесил трубку.

Без двадцати одиннадцать я, как было условлено, приоткрыл дверь. Интересно, убийца придет со своим чемоданом, раз он должен симулировать ограбление? Или нет? Я достал из шкафа в спальне чемодан и притащил в гостиную. Как поступить? Может, не стоит вмешиваться? Откуда мне знать, возьмет ли профессионал чемодан с моими инициалами? А с сумкой я как-то плохо его себе представлял. Еще надо подумать о следах борьбы. Тут я расхохотался. Узнаю себя: всем-то, до самого конца, я должен распоряжаться сам, всегда должен оставаться хозяином положения. Хотя и знал: на человека, которого выбрала Лили Марлен, можно положиться целиком и полностью. Он думал, что меня нет дома, а я оказался в квартире, завязалась борьба и… ах да, чуть не забыл, надо выключить свет.

Я выключил и снова сел на диван. Прислушался к себе — ни капли нервозности или страха. Бык готов идти под нож. Не знаю почему, но я хотел, чтобы удар мне нанесли в затылок.

Послышался какой-то шорох.

Я скрестил руки и наклонил голову.

Наверно, у него с собой фонарик.

И вдруг в гостиной вспыхнул свет.

В дверях, не успев еще отнять руку от выключателя, стояла Лаура.

У меня помутилось в глазах, тело сковал паралич, и все вокруг заволокло бредовым мороком.

Лаура сняла перчатки. В руке она сжимала серебристую сумочку. На ней было длинное, до полу, с длинными рукавами изумрудное платье, а поверх него — расшитая блестками туника.

Сознание реальности стремительно возвращалось, будто накатывал бурный вал смятения и протеста. Я вскочил на ноги:

— Тебе нельзя здесь оставаться. Я жду…

— Я знаю.

Первая моя мысль была весьма благородной. Лаура, подумал я, почувствовала, что я в опасности, и бросилась сюда, ко мне, прямо с какого-то великосветского приема. Дань женской интуиции и возвышенным чувствам, и если в этих строках есть циничный привкус, то только потому, что юмор, верно, тоже развращает.

Я видел черное зияние дверного проема, а в позолоченной зеркальной раме — белого человека, запертого в четырех стенах своего старого жилища, словно в западне.

— Мне позвонила твоя знакомая. Мадам… Льюис Стоун, да, точно.

— Лили Марлен, — прошептал я.

Лаура легким победным шагом прошлась по комнате. Гладко зачесанные и собранные в узел волосы открывали чистый, ничем не омраченный лоб.

— Она сказала мне…

— Я знаю, что она тебе сказала.

Лаура опустилась на пол рядом со мной:

— Жак, я не могу без тебя жить, и… не станем же мы расставаться из-за того… из-за того, что…

— Из-за того, что я стал импотентом. Скажи, скажи это, Лаура. Давно пора сказать это четко и ясно.

— Неправда! Просто ты нуждаешься…

— …в помощнике, — договорил я и натужно засмеялся.

— Да нет же, нет! Твоя знакомая мне все объяснила…

— Что эта тварь тебе объяснила?

— Ты прожил долгую жизнь, и твоя сексуальность стала более сложной, не такой… элементарной…

— Ах, не такой элементарной? Скажи еще — искусственной!

— И надо с этим примириться.

— Примириться? Примириться — с чем? — заорал я, вскочив. И ухватился за дряхлеющую европейскую цивилизацию, которая так кстати подвернулась под руку. — Лучше сдохнуть! Пусть примиряется Европа, я не стану! Раз у меня нет больше будущего, нет жизнестойкости и силы, раз я теряю самого себя и должен отказаться от дорогих мне представлений о себе, о западном мире, о Франции…

— Господи, Жак, что ты несешь?

— Есть предел той цене, которую я согласен платить за сырьевые и энергетические ресурсы.

Однако засмеяться я на сей раз не успел. В прихожей послышались шаги — и появился Руис. Это было нетрудно предвидеть — заботливое окружение сомкнулось.

Руис был в фуражке и шоферской форме. На правом плече торчали, засунутые под кожаный ремешок, перчатки, и хищные пустые пальцы топорщились мне навстречу вороньим крылом.

— Старая сводня, — пробормотал я.

– *Si, señor,* — сказал Руис.

Он дошел до середины гостиной, снял фуражку и смиренно замер. И снова, в последний раз, при виде этого лица, столь непохожего на мое,

согретого нездешним солнцем, меня пробрала судорога сладкого предвкушения. Теперь я заметил что-то жестокое в его сжатых губах и едва ли не вызывающее спокойствие, безразличие, с которым он держался, уверенный, что будущее и победа — за ним. На миг во мне взыграло все: протест, возмущение, гордость, сарказм, военный оркестр и парадный марш по Елисейским Полям под боевыми знаменами с де Голлем во главе, а также пламенная старая пластинка, и в этой музыке злобно шипели, корчась в агонии, остатки публично обнаженного классового сознания.

Револьвер был совсем рядом — в ящике стола, но и эта мысль угасла, не успев подуматься.

Лаура окинула Руиса не слишком дружелюбным взглядом и закурила.

Плотно задернутые занавески, красный свет. В моей опустошенной голове метались бесконтрольные мысли. Одна из них была особенно хороша. Я вспомнил предостережение Киссинджера: если энергетические потоки, в которых жизненно нуждается Запад, будут перекрыты, может вспыхнуть война.

— Примерно таким я его себе и представляла, — сказала Лаура.

— Ты его *представляла?*

Она опустила глаза:

— Ну, сначала я пугалась, когда ты ночью что-то такое бормотал. Потому что не понимала и думала, может, ты меня разлюбил, может, тебе меня одной уже не хватает.

Я ждал, что впаду в отчаяние. И не дождался. Вместо этого я словно бы заново родился и очутился по другую сторону. По другую сторону всего происходящего, так что со мной уже ничего произойти не могло. Когда-то из капли иронии родился целый мир, и человечество — его смешок.

Лаура взяла мою руку и приложила к своей щеке:

— Все это не важно, Жак, совершенно не важно.

— Конечно.

— Физическая сторона, и только.

— Да-да, я знаю.

— Это не имеет никакого значения. Твоя знакомая очень верно сказала. Она так хорошо разбирается в жизни…

— Уж это точно.

— Она сказала: “В любви ничего не стыдно”.

Я ровно ничего не чувствовал. Лили Марлен сдержала слово. Я убит. Теперь можно спокойно жить дальше.

Я повернулся к Руису:

— Вы хорошо умеете водить?

— Я служил шофером у графа д'Авилы в Мадриде, *señor*. И у маркизы Фондес в Севилье. Еще я служил у сеньора Андрианоса, судовладельца. Раньше был тореро, но потом покалечился и сошел с арены. Я хорошо вожу, *señor*. И еще много чего умею. У меня и рекомендации есть. Могу работать официантом.

— И гостиничным вором, верно?

Он и бровью не повел:

— Приходилось и телохранителем.

Я порылся в кармане, вынул ключи от "ягуара" и от гаража и бросил их Руису.

Лаура, не вставая с пола, взяла меня за руки. Никогда не видел я в ее глазах столько нежности.

— Давай уедем, Жак. Далеко-далеко. В Иран или в Афганистан.

— Давай. А потом еще дальше.

— В Южную Америку, например. В Бразилию, Перу…

В залитой красным светом комнате витала усмешка старой сводни.

— Приходите завтра, — сказала Лаура Руису. — Приготовьте машину. Мы уезжаем рано утром.

Руис посмотрел на меня.

— Запомните, друг мой, вы должны выполнять все, что велит мадам, — сказал я.

– *Si, señora. Si, señor.*

Он вышел. Лаура чуть отстранилась и тревожно заглянула мне в глаза. У меня в три ручья полились слезы, так что я быстро стал похож на утопленника. Она опять приникла ко мне и распустила ласковое облако волос. Прильнув друг к другу, мы надолго замерли.

Лаура заснула в моих объятиях. Она лежала так спокойно, так доверчиво — в жизни не получал я лучшего подарка.

Мое же тело в ту ночь было для меня только тяжкой обузой. Мы с Лаурой вели любовную борьбу, стараясь не заводить друг друга.

Я встал в пять часов, чтобы успеть съездить на работу — взять паспорт, деньги и дорожные чеки и сделать последнюю запись в эту тетрадь. Ты найдешь рукопись в сейфе, Жан-Пьер, как велит обычай. Оставляю ее тебе, потому что хочу подружиться. И еще она поможет тебе избавиться от представления о непобедимом — оба уха и хвост — отце, которое я вбивал тебе в голову с самого детства. Только теперь, когда я уже ничего не могу разглядеть, я увидел себя настоящего.